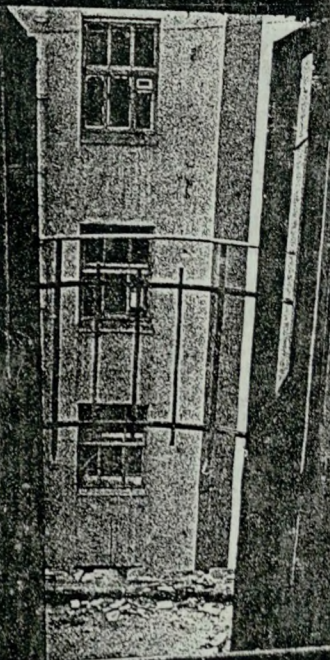
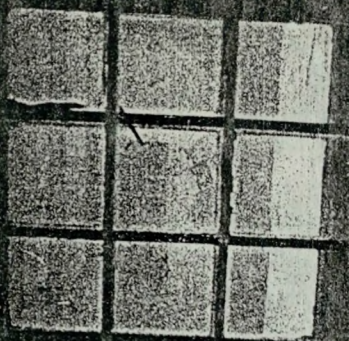
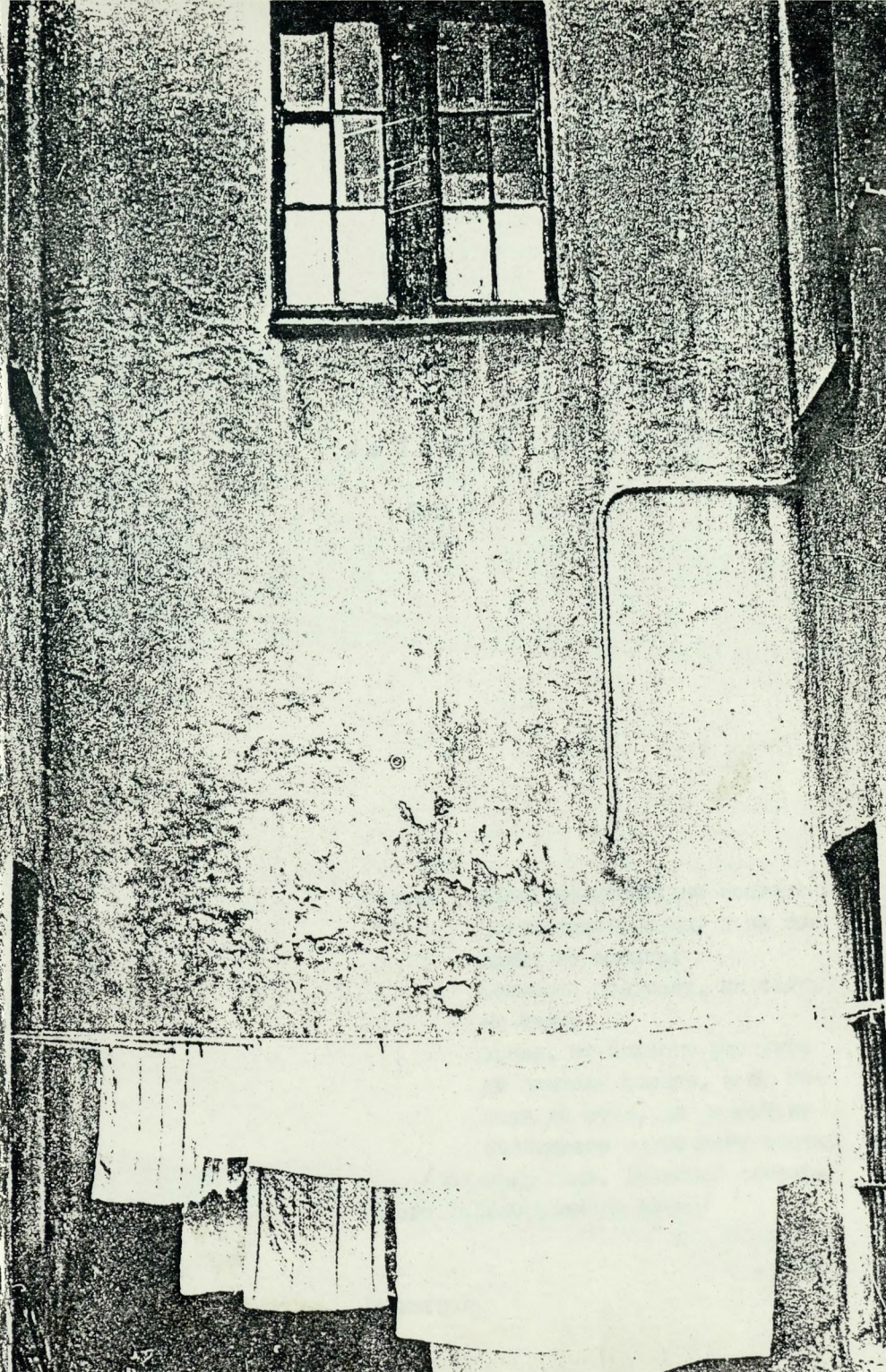


5



СУМЕРКА



С У М Е Р К И

№ 5

1989

Зулерки - зари, полусвет: на востоке
до восхода солнца, а на за-
паде, по закате;
/вообще/ полусвет, ни свет,
ни тьма;
время, от первого рассвета
до восхода солнца, и от за-
ката до ночи, до угаснутия
последнего вознежного света.
/ладу впр даль. Толковый словарь
нового великорусского языка/

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Памяти Арсения Тарковского	3
П О Э З И Я П Р О З А	
Владимир Дунин. Стихотворения	8
Андрей Левкин. Рассказы из цикла "8 - 88"	14
Владислав Белкоз. АркадияТекни, помолвы и другое из десятидесятич - восьмидесятых	21
Дмитрий Волчек. Три стихотворения	27
Олег Григорьев. Стихотворения	33
Сергей Седов. Про Лёшу, который хотел превратиться во всё-всё-всё	46
Лоси, Еродский. Бесупительная речь	60
Стихи о зимней компании 80 года	66
Г Л А С Н Ы Е И С О Б Ы Т И Е	
Зинаида Миркина. <После Гроссмана>	70
Вадим Драпкин. Бермало "Бермало"	78
Александр Талалаев. Время грома, или наши в Швеции	93
Ирина Броццэ. "...Следя лучу..."	101
Дмитрий Синочкин. набросок контура эссе	109
Лизьмо в редакцию	116
Э Т А Ж Е Р К А	
"Будь мы ц.ём?"	121
"Молодой Гавста" /Серен Кьоркегор. Афоризмы. фрагменты дневников/	123
"ПЕ ГОРО, РИЛ ЛИБЕЛ' СРЕДИ ВЕКОЗ"...	136

Редакция: Алексей Гурьянов,

Александр Новиковский,

Дмитрий Синочкин;

при участии: Ирина Броццэ,

Ирина Ильиной.

Художник:

Владимир Лиске

Фото: И.Ильиной,

В.Лиске

1987, ул. Металлистов, 115 - 20
Новоселову А.А. /тел. 313-33-00/




Арсений Тарковский
ВЕСТНИК

ВЗГЛЯД

С мольбой на лбу, в кладбищенском леску
В день грузный и сырой, зимне-весенний
Она ушла от нас к корням растений,
Туда, в подпочву, к мерзлому песку,
"Что сподличать решит, - сказал Арсений, -
Пускай представит глаз ее тоску",
Да, этот взгляд приставить бы к виску,
Когда в разладе жизнь, и нет спасенья.

Дмитрий Еобышев,
из цикла "Траурные октавы"



"ЭТУ КНИГУ МНЕ КОГДА-ТО ... "

Ему можно было написать письмо: "Многоуважаемый Арсений Александрович! Своим прямым обращением к Вам я, быть может, нарушаю литературную субординацию, сложившуюся теперь..." В конверт вложить стихи, надписать адрес: 103003 Москва, Садовая-Триумфальная, д.4/10 кв. 9.

Вечер памяти Мандельштама, о котором в "Хронике текущих событий", - легенда уже. Но стихотворение "Поэт"...

"Как назвал сына?" - "Арсений". Чаще всего: "Редкое имя". Несколько раз: "В честь Тарковского?"

Мне подарили его книгу "Вестник" в Риге на вокзале, а утром на следующий день - один из первых показов "Зеркала" в Ленинграде. "Великан" (и такой был кинотеатр). Женщина рядом заплакала в голос, когда на экране - испанские дети. В зале после фильма аплодисменты.

Тогда открылось, что такое протяженность от прошлого - к будущему, ряд, в котором кадр, голос, фотография книга... Почувствовали и говорили легко и обиденно (может быть, от чеховских слов о Толстом): "Господа, вальем за здоровье последнего классика".

Ахматовские "Листки из дневника" ("С.Липкин и А.Тарковский и сейчас охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи"), фотография с похорон Ахматовой, а сегодня - Ахматовское столетие, в котором и было-то больше всего нас со всей нашей невоздержанностью и неделикатностью; и певцы и певицы, извещающие от "что бы ещё такое спеть" (Только, только, только, только этава мала).

НО - "так и надо жить поэту"?

А.Г.

...На свете смерти нет...

А.Т.

Он не "повзрел" - он как был всегда был. Только когда его поэзия замкнула собою пропасть между "серебряным веком" и нами - тогда мы ощутили прошлую пустоту, зияние. Арсения Тарковский - недостающее звено, последний акмеист.

У него странные отношения со временем. Всю жизнь писал, практически ничего из своего не печатал; его лирика жила, но без читателя, точнее, мы как-то умудрились жить без нее. А потом возникла сразу вся, с судьбой и историей, с датами внизу страницы, которые не воспринимались реально: где же были эти стихи, когда их ещё не было? И в строчках - тот же дявольский слав времен:

...Ни клеветы, ни лжи

И не бегу...-

пушкинское управление: "бежать клеветы", а рядом:

...Когда идет бессмертье косяком.-

нетатора, невозможная для любого другого века, кроме второй половины двадцатого, но ещё и опрокинутая в бездонную евангельскую глубину / "...Сделаю вас ловцами человеков", Мф, 4, 19/. Какая-то параллельная судьба, запасная дорога. Мы не знали об этом пути. Остальные были известны: погибнуть, сломаться, в лучшем случае - жить с разрешения и под присмотром власти, всегда с недоверием относясь к художнику. Оказывается, был ещё и такой путь - Тарковского. Но я всё равно не люблю его профессионально-блестящие переводы - всё кажется, что это часть души, не отданная лирике.

Для меня он начинался, как для многих: глуховатый напряженный голос за кадром. Савораживающее безэмоциональное чтение - голоса как бы и нет, сами по себе ртутно-тяжелые слова повисают в воздухе между экраном и аппаратом, над головами зрителей. лагия внутренних рядов и смысловых перекрестков.

Потом - поселок Шилский Одес Коми АССР. Каким ветром закинуло к не таяникам и бурозикам эту книжку? Но в убогом пустом магазинчике оказалось сразу три экземпляра нетолстого сборника с алчно-ватой чудрой обложечкой - с краешку полки, никому здесь не нужные, невозможные здесь.

Эти стихи влодрили в сознание сразу и - по омуждению - навсегда

Ридновались с лирикой и кинематографу Андрею Тарковскому, и тем немногим, что мы знали о самом поэте. Наследник "серебряного ве-

"ка", он был верен себе до конца, его судьба - для нас, по крайней мере - стала по себе безупречное произведение. Монет судьбы.

Д.С.



**Арсений
Тарковский**

ВЕСТИНК





НОЯ
34А
ПРОЗА

Т е м а :

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.

Часто, когда покрывалось небо осенней тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!)
Шли и твердили, шутя: какое в россиянах чувство!

Дельвиг, Баратынский

В а р и а ц и я :

"Россия - ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек".

Победоносцев

Трудно волкам, как же трудно в такие погоды!
Я пожалел ворону и всякого меньшего брата.
Наполеона, замерзшего в трех сюртуках
(до единого серых, походных),
но каково же в лосинах на голую ногу Мирату!?

Трудно и мне без кальсонов. Трикотовых тонких.
Мать вашу там, где Семеновский полк, в пятой роте!
Или потолще и с ворсом.
Спроворить бы в плен к партизанам.
Но на пути - ого-го! - ни дубины какой-никакой,
захудалой, народной, теплой войны,
а побыть бы Винсентом Боссе с барабаном;
я б затвердился - какое в россиянах чувство!
Петю Ростова увидеть,
а также погреться. И плевать на штаны!

Вона куда добралось,
интересно, поэт Баратынский
с Дельвигом, тоже поэтом,
не слышали звона?
Вона куда...

ж ж

Всё ли греческий дом, золотистого меда струя,
где жила тишины не упасая пряжа,
где та кровь, что, и в этих печальных плутая краях,
протекала счастливой из граней безумья и страха.

Золотистого меда струя, византийского больше в Айя-их-Софи
чем прошлого в этой Тавриде ;
как Таврида в томате, и в ней не отыщешь жилья
молоку из словес и сосудам его из России.

Сторожа да собаки. Да тот же вездешний Сучан
маскирован на скорую руку зеленой фанерой Тавриды,
всюду Аргуса службы и пения однополчан.
И с турецкого берега серии телемахиды.

"Золотое руно", всюду есть "Золотое руно",
но ни "Явы", ни "Примы", в вине не найти винограда,
только в той стороне, где заборами обнесено,
одичавшие "всадники" валяются через ограду.

Неужели всего с небольшим и семидесяти нет -
пятисловные строки в начале Унылых династий
записал наш поэт.

А насколько здесь всё коренастей!

Золотистого меда струя и вокруг без числа бытия -
вот метафора всей недоленной жизни
нашей крови в краях, омывающих в Ялте маяк,
и для этого видимых здесь при материализме.

Человек умирает, ритм оставя подобьем манка
золотистой и хищной струе с выраженьем былого ;
и висит на коричневых, темных стволах языка,
и таращит глаза в янтаре черноморском из света и слова.

(А в Ливадии белой певица Ротару живет.

Вот живет же себе, даже узкие осы ее не кусают.)

К а п р и з

"И как блестящ, и как прозрачен водоточивый Петергоф".

П.А.Вяземский

В Петергофе, водоточивом и сонном,
рядом с фонтаном Самсона,
разрывающего пасть льва,
я бы поставил еще два:
одесную - "Геракла, рвущего пасть Самсону",
и ошую - "Самсона, рвущего пасть Гераклу".

А поодаль, на травку,
я уложил бы "Льва,
раздираемого всеми противоречиями эпохи капитализма",
и для забав -
масенький сбоку фонтанчик:
"Мальчик-амур ставит сирене клизму".

Но тогда уж на месте Венер Медицейских,
этих нерусских баб,
одна из наших Венер милицейских
стоять должна б,
в количествах тоже голых,
но в сапогах, при погонах
и с кобурой на мраморе той из ляжек,
внизу у которой ляжет
копия вашего
покорного оригинала,
золотом крашенного,
в Венерину титьку пьяного,
изливаясь весьма покаянно
на гладь каналов
и к сапогам Венеры
под гимн Глиэра.

Видя под сим табличку:
"Винерка М. с водоблжем",
ты отойдешь прилично
и тихо плюнешь.

* *

Вместо пули, бьюсь, прилетает дура,
говоришь ей: - дура ты, дура!

А она тебе: - пуля.

Всё, что, дура, и помнит
из всего "пли"!

Обнимешь ее и говоришь: - пошли,
нам с тобой на самую верхотуру.

К белым единорогам,
не проведем и ночь у моих яслей;
к мокрым, с их следами, дорогам;
к пальме, рассказанной Навсикае;
к умножению царскосельских аллей,
где бесчисленным гимназистом мелькает
Дафнис. Дафнис и Хлоя.

На полу хлорка в три слоя,
воротники на манер удавки.

В том лесу белесоватые стволы
их наганов были что-то веселы.
Из земли за корнем корень выходил
и менял копанью могил.

Под покровом ярко-огненной лямбы
и Леванта, Африки, Невы,
он и умер смертью от руки
пестипалой, человеческой чеки.

Только раз отсада в вечер грозовой
вышла женщина, которой быть живой
оставалось сорок лет педряд,
после этого влехого сентября.

Этó было, это было в те года,
от которых не осталось и следа.
Это было, это было в той стране,
о которой не загрезмишь и во сне.

1. Весна: галапагосы
идут по кокосн,
на покосы устриц в отливе;
песни их донельзя гундосн,
но и нет народа пугливей.
Крикнешь, онвало: "Пошли все на!"
и вокруг - тишина.
2. Зима: галапагосы
по-прежнему без штанов и босы,
но заплетают в косы
меха, горлатные шапки, валенки,
что-то из теплого моего белья.
Лес дубин вокруг моего жилья
все более стоеросов.
3. Наблюдение: галапагоски - неброски,
но очень прытки;
тут бурей прибило порнографические открытки,
Господи! сколь ни объяснял я им,
что позтом судно и затонуло,
и меня затуило
в их воронку.
Слава Тебе, я все еще невредим.
но как это у них громко!
4. Осень: галапагосы
не без меня изобретают способ,
как им делать белых детей,
по моей просьбе красят листья охрой
и отрясают их после дождей,
ибо осень отличается здесь только тем, что мокро...

5. ... а это дни с рою цаек;
 иногда галапагосы косятся себе и полгучно
 кудятся вниз,
 издавая печальное галапагосье,
 хотя я и объяснил им, что же такое осень.
6. Лето: галапагоси
 и те от жары раскосы,
 я же просто не особь,
 а какое-то тесто в мле;
 пытаюсь смотреть, как отсюда в мле
 и, слышат ды: отчества из трубн корабля,
 и когда дурным голосом,
 вместо "седа!" и почему-то кричу "земля!",
 в окошко считает вые сестыи галапагосом.



Младший брат - автор известного
 оскоелого театра-студии "Театр" /руко-
 водитель Инна Козенкова/.

Эпикотворения, предлагаемые читате-
 лю - терзан публикциии автора.

Рассказы из цикла "8 - 88"

. . .

Проза улицы Авоту

Конечно, не так жестко – не только Авоту, а ее района: позвоночник – Авоту и ребрышки поперечных улиц – от Гертрудинской до Лиенес (вдоль) и от Мариинской до Валмиерас (поперек). (В тексте употребляются прежние названия некоторых улиц – в случае, когда они более соответствуют их фактуре, нежели нынешние.)

Рижан на свете немного, поэтому следует дать описание зоны действия. "Авоту" – в переводе – "Ключевая". С водными делами улица определенно связана, ключи под ней существуют по сей день: от живущих на улице известно, что подвалы многих домов полузаотоплены, и там плодятся комары, доставляя жильцам в теплое время неприятные неудобства.

Улица – в центре города, следует параллельно главной улице, в четырех кварталах от нее. Начинается, отходя от Мариинской, в трех кварталах от вокзала; завершается (там, впрочем, называясь уже почему-то иначе) Гризинькальном (это парк – теперь 1905 года – и район примыкающих к нему улиц: соседний, смежный с районом, которому довлеет Авоту, – дома там невысокие, деревянные, в основном: дешевый и непрестижный пролетарский район начала века). Впервые в списке городских улиц упоминается в 1810 году, длина ее 1270 метров.

Хотя Авоту и располагается, вроде бы, в центре, – к нему как к таковому – монолитному, шестиэтажному – отношения не имеет. Она как бы стягивает к себе, собирает вдоль себя дюжину малоимущих, малопривлекательных на первый взгляд кварталов, служа им бродвейчином со множеством небольших магазинов, кафе, всяких там парикмахерских, аптек, мастерских и прочих потребных району заведений. Улица неширока, движение по ней почти одностороннее, в сторону вокзала. Почти – потому, что в обе стороны по ней курсируют троллейбусы, разъезжаются которые, шурша боками.

Застроена улица в начале века, что-то – сохранилось с девятнадцатого. С приближением к Гризинькалну больше домов деревянных, со дворами, в которых стоят такие же деревянные дома. Там еще сохранились яблоневые и вишневые сады, вероятно, уже не плодоносящие, а года два-три тому назад я слышал в одном из подобных дворов пе-

тушиный крик. Не знаю, может, я ошибаюсь, или это был телевизор а только года два-три назад петух, в принципе, был там вполне стилистически возможен.

С какими-то крупными событиями улица не связана, мемориальными досками не обладает, хотя, например, известно, что в двухэтажном деревянном доме возле Мариинской (Авоту 6) жил дед Мандельштама, поэт навещал его в детстве. Дом не сохранился.

Время действия – мокрый снег.

Человек в возрасте между королем и валетом, ближе к влет бубновой, скажем, масти. Чутьочку фанерный – если попытаться начить ему в соответствие дерево. Одетый не слишком старательно и потому, что "из служащих", и потому, что в короли ему не выбьтся, и можно жить как хочешь.

Живет он на окраине, но отчасти уже и тут, на Красноармейской (Рыцарская для него – несуразна), возле Авоту – как бы не фициально: иногда остается на ночь, будет, скорее всего, жить постоянно, и идет туда уже почти как домой, почти – потому что ключей у него, например, нет – не потому, что женщина их ему не дает, он почему-то отказался сам. Не из нежелания связать себя с ней как бы окончательно – он связан и тому рад, из нежелания определиться что ли, переступить как бы вполне определенную черту. К тому же бубновый старший валет или младший все-таки коро пристрастился быть холостяком – после своей первой семейной жизни: удачной, не удачной? – это было уже давно, что это было? Нынче насильно его никто не тащил, дом был очень спокойный, да флегматичный. Женщина была разведена, жила с дочкой и матерью, то есть новый возможный член семьи оказывался совершенно среди женщин, так что с того: там было хорошо, уютно. Он, собственно, был там уже совсем своим – встречал девчонку после школы иногда например.

Сегодня он шел без особенной договоренности, но и не то что бы наудачу: зная уклад дома, времена разных дел, он полагал, что го –нибудь да застанет. Не будет ее – поболтает с матерью, которая его привечала: то ли сочла дочери подходящим, то ли была в нем неухоженность одинокого человека, не переведенного одиночеством в разряд гусар, лихих себе на уме мужиков, напротив – в него проглядывало что-то соломенное, вялое, беззащитное; он не по гс дам рано начал уставать, что ли. К такому человеку было приятно

отнестись хорошо.

Он знал, что по субботам с утра заходит бывший муж, долго не задерживается, забирает дочку и ведет ее на какие-нибудь детские увеселения - одну или со своим новым сыном. А ей особенно деться некуда, разве что сходить к подруге. Сидит, читает либо занимается хозяйством. Может, они что-нибудь для себя на сегодня придумают, а то он просто посидит рядом с ее домашними делами или, если будет настроение, лягут в постель.

Падал мокрый снег, было безветренно, снег валился вниз, таял, зацеплялся за шершавости стен, занимал небольшие области тротуаров - где, вероятно, попрохладней, но и там лежал крупнозернисто, отдельно. Было сыро и тихо. Народу на улице никого, машин тоже. Шел он хорошо ему известной дорогой, почти как домой.

Только наступил Новый год, в очередной раз падал первый, тающий снег, год еще не разгулялся, был мутным, пасмурным - теперь хотя едва за полдень, а сумерки почти вечерние, или весь город был опущен в сумерки падающим снегом; город, район был не то чтобы похмельным - не очнувшимся от позднего вставания (Новый год был позавчера). По Сарканармияс от центра он шел, отсыревая, с мокрым лицом, соображая, что с Нового года оставался там недопитым коньяк, что там, впереди, вообще все такое домашнее, теплое. Дошел до дома - в трех шагах от Авоту, вошел во двор, зашел в подъезд дома во дворе: подъезд всклокоченный, несвежий, с больной, что ли, печенью. Поднялся на почти свой этаж, позвонил.

Но не открывали. Как всякий, не заставший хозяев дома, он подсадовал, что не созвонился, и - надеясь, что те, конечно же, вот-вот вернутся, принялся ждать их на лестнице, закурив возле окна. Окно выходило во двор, падал снег, окно запотело. Подумал было, что можно написать на стекле записку. О чем? Что еще зайдет? Так он так и так зайдет, а кто же в такую погоду соберется дважды выходить из дома.

Но время его тут материализовалось, обратив бы на это внимание, он бы увидел, что оно развернулось перед ним прочное, четко разделенное на три участка, обязавшее его к определенной жизни. Первый участок : от звонка в квартиру до второго звонка, на всякий случай - а ну как там что-то грохотало - хотя он бы услышал? Второй - ожидание, бродя по двору. Третий - дожидаться, бродя (предположительно навстречу) по кварталу, после нескольких кругов

по которому—еще один заход, и если нет, то, даже встретив хозяев на лестнице после последнего пустого звонка, он не отменит уже окончательный уход. Процесс займет около полутора часов.

Испытателем своего естества он не был, с подобными вещами разбираться склонности не имел, так что просто вышел на двор, постоял какое-то время в дверях подъезда, глядя на оседающую белую стену, вошел в нее, наконец.

Двор был как плац. Большой, квадратный, пустой. Он был то ли замощен, то ли песчаный, то ли заасфальтирован частью, а теперь — не понять, потому что снег здесь преуспел, и лишь кое-где сквозь него высовывались отдельные камни, какие-то доски и железяки.

Он поклонялся по плацу : двор, по правде, наводил уныние, и не из-за погоды — та, скорее, скрашивала его унылость — гаражи, гаражи, ближний низкий горизонт разновысоких низких деревянных строений, какой-то зеленый деревянный домишко, гаражи, маленький сад сбоку: какие-то поломанные ограды и оградки, какие-то погнутые трубы — что-то вроде разукомплектованной, нарушенной детской площадки, а дальше — сад, дюжинка корявых деревьев, кажется, — яблонь, служащих тут, очевидно, гимнастическими снарядами, не имеющих ни малейших надежд довести свои плоды хотя бы до относительной спелости. Теперь эти полумертвые уже, наверное, яблони выглядели — сквозь падающий снег — прекрасно; сад поперек разделялся темным, промокшим, рябым от налипающего снега забором — за забором деревья продолжались, относясь уже ко двору дома, выходящего на Матвеевскую.

За время его хождения по двору никто во двор не зашел, он снова постоял возле подъезда, посмотрел в чужое окно на первом этаже — там горел свет, добротный и надежный, комната заполнена старой массивной мебелью, на стенах темные картины в тяжелых рамах; живущие там жили там уже не первым поколением. Он такому завидовал, не понимая, как такое еще возможно в этой стране. Возможно, выгорит, если, разумеется, интерьер не был имитацией. Но он не был.

Наступило третье время ожидания, и он пошел со двора, полагая, должно быть, что ему это просто так захотелось. В подворотне повстречался еще незнакомый старик в коричневом ветхом пальто, с драпным мохеровым шарфом, в синих бумазейных штанах, во вклю-

коченной, мокрой ушанке из собачьего меха. У старика были воспаленные глаза, он страдал паркинсонизмом, был, очевидно, неотъемлемым элементом двора, сидящим на лавочке с наступлением тепла.

В пустой же квартире дела с утра развивались не очень складно. Да, должен был зайти прежний муж, забрать девочку и повести на елку в театр кукол. Бывшая жена предполагала заняться хозяйством, но был и другой вариант на случай, если придет приятель – ныне слоняющийся по окрестностям. Вышло иначе. Девочку в театр повела бабушка. Она, вообще-то, с вечера собиралась в гости к подруге, у которой не была уже полгода, так что – решила она утром отчего бы не сводить к ней и внучку, которую приятельница не видела уже больше года. Кроме того, старшая в доме женщина старалась уменьшить число встреч бывшего зятя с внучкой – простить ему уход она не могла и не собиралась – как бы он заботливо к ребенку ни относился. И поэтому тоже она приняла нового мужа – считая его таковым, да и сам он себя считал мужем, одна дочь только все валяла дурака – думала мать. От него, нового, таких выходов можно было не опасаться. Часов в десять они с внучкой ушли – заведомо раньше, чтобы только не встретиться по дороге с бывшим зятем.

Дверь за ними закрылась, оставшаяся женщина вздохнула: как это у матери все наугад: думает, что очень все хорошо понимает, будто знает, что для нее плохо, что хорошо. А ей было теперь вполне хорошо и очень спокойно. Денег бы побольше, да уж ладно, проживем и так.

Она походила по пустой квартире, выглянула в окно: с-третьего-этажа-напротив выгуливали своего пса, тетка, звать Тосей, возвращалась из булочной, и на полдороги столкнулась с с-третьего-этажа, и завела какой-то разговор, в силу своей вздорности формируя, очевидно, общественное мнение по поводу какой-то очередной дворовой склоки. Труды ее были напрасны, потому что, предчувствуя бесконечность дурного разговора, с-третьего-этажа-напротив подозвали недогулявшую собаку и пошли домой.

Вскоре пришел бывший муж. Не очень-то веселый, снег стекал по его плащу, кивнул, старательно подмигнув, что-то, *знать*, имея на душе тяжелое. Бывшая жена сообщила бывшему мужу обстоятельство – тот несколько посветлел. Не хотелось, явно не хотелось ему

идти выслушивать всю эту елочную ахинею.

Бывшая жена закрыла уже было дверь, но остановилась, увидев, что муж не поворачивается и че уходит вниз, невразумительно пробурчав что-нибудь вроде "в следующую субботу как обычно привет", но стоит в некоторой то ли задумчивости, то ли усталости. "Хочешь зайти?" - "Да, обсохнуть бы немного". - "Так заходи. Чаем напою". Муж вошел, скинул с себя промокший плащ и ботинки, прошел в комнату.

Девочку он обычно принимал-сдавал в дверях, а в квартиру не заходил уже года четыре. Он сел на хорошо ему известный диванчик в углу дальней комнаты, оперся затылком о подоконник, бывшая жена принесла ему тапочки, выговорив что-то насчет китайских церемоний и невесть откуда взявшейся застенчивости. Вышла на кухню ставить чайник, потом в ванную, привести себя в порядок. Причесалась, переодеться не стала, бог с ним, и в халатике сойду. Вернулась в комнату.

Поговорили о том о сем, о Новом годе, о детях, бывший муж спросил бывшую жену, чем она собирается заниматься сегодня - от смущения, что ли. Что-то ему было все еще не по себе.

- Не знаю, - ответила та, - по обстоятельствам. Или придут ко мне или делами - зевнув - всякими.

- То есть я некстати? - нахохлился муж. - Уйти?

- Да нет, спросил - отвечаю.

- А, - сказал муж - это не тот, который...

- Ну да, - ответила жена.

- Мы же знакомы. Нормальный парень, - сказал муж, успокоившись. - Ничего, придет - посижу чуть-чуть для приличия и пойду.

- Что ты разволновался так, - сказала бывшая жена и пошла на кухню заваривать чай.

Бывший муж и сам не понимал, зачем он проговаривает эту ерунду - а ему стало вдруг не по себе от вида этой комнаты, знакомой ему до последних подробностей: ничего здесь не изменилось. Все та же легкая неприбранность - хозяйка была не то чтобы неряхой, но и ... так что вид у комнаты был решительно не гостевой, белье вот по спинкам стульев: и белье было чуть ли не тем же самым, что, конечно, вряд ли, но вот пахла квартира определенно так же, и за зиму обгладываемый столетник на полке, и приблизительно те же книги, и уж точно те же самые безделушки, скопившиеся аж со школь-

ных лет – существующие прозрачно или невидимо для ее взгляда. И истрепанный коврик под ногами и какая-то дощечка с инкрустацией на балтийские темы с отколупнувшимся, выпавшим из гнезда янтарем. И мебель с той поры не переставлялась. И дранный на локтях свитер, стекавший со спинки стула, был уж точно тем же самым: "больной свитер" – она надевала его в предчувствии простуды. И будильник. И двор. И дома, окаймляющие двор. Все точно так же.

– Эй, – крикнула она из кухни, – иди, чашки возьми.

Муж, возможно, будущий вышел со двора, постоял у ворот в некотором колебании – куда свернуть? Свернул на Авоту и через полторы сотни шагов оказался на ней. Здесь его тут же обрызгал троллейбус. Отличных от троллейбуса форм жизни на улице не было, снег уже забелил тротуары, те лежали ровные, непопорченные; нога утопала в снегу, прожигала его до асфальта, улица была уже совсем темна, горели окна в квартирах и сквозь витрины кое-где работавших магазинов. Он, все более промокая, зашел в один, другой. озирает пустые полки, шел дальше, в сторону церкви Пятидесятников. Возвращаться еще не хотелось, он решил позвонить, но двушки не было – зашел на углу Матвеевской в Авоту в кафе, о существовании которого раньше не знал: наменял двушек да заодно взял и кофе, сел транжирить время возле окна. Падающий снег, закрытая аптека напротив, изредка – троллейбус, случайная машина. съездившийся пешеход. Ничто из этого не отрицало возможность смотреть на себя сколь угодно долго.

Двое бывших сидели на своем бывшем диванчике и пили чай. Не очень, впрочем, пили, да и не слишком разговаривали. Просто сидели, забравшись на него с ногами, в разных его углах. "Завела бы ты себе мебель пошире", – сказал муж. "Что, я раздалась, да?" "Нет, – ответил муж, – что ты. Ты в форме. Это я вот..." – он опупал себя возле поясицы и поморщился. "Да ну, – сказала она – не так уж и заметно". "А разболтался диванчик, расшатался". Бывший муж ощутил, что начал слегка плыть. К таким визитам надо готовиться заранее и приходиться в сопровождении сопровождающих. Он, того вовсе не желая, явно раздваивался: нынче что за год, сколько мне нынче, где я, почему? В него въехало, впало какое-то параллельное время, параллельная веточка, нырнувшая пять лет назад куда-то вниз, а теперь вдруг вынырнувшая на прежнем месте:

их, веточек этих, в человеке полным-полно, поди, разберись откуда что и куда, где тут основное русло, да и есть ли, что за вода да почему течет, да все в одну сторону.

В нем теперь слились как бы, устроив протяженный бурунчик по линии своего слияния, два времени: и диванчик этот, и эта женщина, и как они тут лет десять назад не давали друг другу спать или - лежа на этом же диванчике - закрывали пари: сколько раз в "последних известиях" помянут бровеносца, и сбивались со счета, и что же это такое произошло, что они расстались, хотя следующая жизнь была ему хороша, но, в самом деле - почему? да и произошло, разве, тогда что-то, если он теперь тут, как был тут и десять и шесть и пять лет тому назад, и весь этот дом, и еще знакомые бывшие соседи, и район, показавшийся сегодня неприглядным и опустившимся, а тогда, лето тогда что ли все время было?

И поэтому чуть погода он придвинулся к ней, лег на диване, вытянулся, положил голову ей на колени, смотрел на нее снизу вверх, не забыв, что ей это никогда не нравилось - ну, в самом деле, что хорошего можно увидеть с такого-то ракурса, она привычно поморщилась, наклонилась, перегнулась через него - он въехал лицом в ее живот - достала со стула подушку, подложила ему под голову, легла рядом, как-то в полуобнимку; они соприкоснулись как, скажем, две половинки разорванной фотографии.

А ей пришло в голову что-то про машинку времени - не такую, вроде стригущих газоны или затылки, другую: домашнюю, игрушечную, плюшевую. Ее можно завести, пискнуть ею, надавив, положить под голову как подушку. Машинка могла вдруг запрыгать, проковылять вперевалку по комнате, крикнуть чем-то у себя внутри, спеть песенку. Потому что, потому что она всю жизнь жила здесь, видела все тот же сад под окнами, тот же церковный шпиль над крышей, и все это было уже давным-давно и настолько она сама, что все, что менялось, - менялось где-то чуточку сбоку, и оттого не менялось вовсе: добавлялось, оставалось, скапливалось тут - вот, пришел муж, так он и так уже был здесь, в воздухе этой комнаты, и отец здесь, и даже дед, которого она не помнит, и много кто тут еще, и если бы пришел одноклассник из пятого класса, она так же, не удивившись, обсуждала бы - как теперь лежала в обнимку с мужем и подставляла шею под поцелуи, помогая ему растегнуть свой халатик -

с одноклассником какие-нибудь пионерские дела или играла бы с ним в шашки, и все это было косвенно, и говорить об этом незачем и думать не надо — мы и так знаем, про что все это.

Звонка они просто не услышали.

В кафе народу было мало и все не случайные — из ближних домов: за сигаретами, принести кофе домой в термосе. Потому что здесь не было посторонних, то посторонним не был и он. Он стал здесь своим — как только это пришло ему в голову.

Так что, покинув кафе, он не поспешил в сторону дома, не стал ни звонить, ни морщиться от их здешнего снега, а пошел пройтись. Погулять перед тем, как возвратиться домой. Вышел на угол: улица темно-серая, мельтешащая снегом и огоньками светофоров, он повернул в сторону церкви, ощутив при этом, что переступил уже в чуть соседнее пространство — в смежную треть улицы, где все было устроено уже не так, как в его квартале, разница была, как между комнатами одной квартиры: он дернулся, ощутив эту разницу. Захотелось курить, зашел в подворотню.

Во двор сквозь нее он не прошел, стоял внутри, прислонившись к стене, пацкая одежду. Домишки тут были деревянные, двухэтажные, и ветхость района, нищета и отсутствие призора проявлялись яснее. И даже пол самой подворотни был пробит, тут была зачем-то выдолблена яма, прикрытая снятой с петель дверью.

Ну что? Три деревянных дома во дворе — крашенные плетейской коричневой краской. Ну что еще? Какая-то кирпичная стена в глубине двора: темная, вымокшая. Ну что, поленницы тут и там, всякий мелкий шелушащийся и ржавый хлам по всяческим пазухам двора, двор заметен снегом, с крыши капли пробивают строчку лунок. Ну что, сырость, запахи жилья, музыка из окна. Ну что, треснувшее стекло, заклеенное пластырем, ну что, связка лука за стеклом, ну что, лампочка без плафона в глубине лестничной клетки и три черных влажных дерева между поленницей и покосившимся водостоком, как живете? Ну что, вряд ли и мы тут никому не нужны.

Дом был полон народу — жена, ее прежний муж, их дочь, мать жены, дочка рассказывала, какие на елке бабушкиной приятельницы странные игрушки — одна была подарена: велосипедик, составленный из разноцветных стеклянных гнутых трубок. Жена улыбнулась ему, принесла полотенце — он вымок насквозь. Бывший муж, немного грустный, разговаривал с дочкой, вскоре распрощался и ушел.

Ушедший вышел на улицу и зашагал по ней, как по улике любой другой. Его время здесь - кончилось. Он стал тут теперь обычным прохожим. Дом, дом, тротуар, пекарня, дом, дом, забегаловка, дом, афиши, магазин, перекресток.



Рассказ с хэппиэндом

За ночь ничего не произошло. Едва проснувшись, он прислушался, провел рассудком по телу: да, не рассосалось. Сглотнул - не осталось уже никакой надежды, все же - провел рукой, нащупал на шее этот скользкий бугорок, повыше кадыка, чуть слева.

Потом - уже встав и умывшись - позже, когда собрался с духом, посмотрел в зеркало: увеличилось ли - сказать трудно, но и не уменьшилось - так, на глазок, измерить у него не хватило мужества: измерять, приходится в отчаяние, нет уж, увольте. Дело в том, что у него на шее - совсем как смола на стволе - вырос гладкий, скользкий сгусточек: из какой-то более плотной, чем тело ткани, скорее неживой, чем живой; немного уже оттягивал кожу, свисая. Повернулся, желая рассмотреть его сбоку, попал под луч света, наростик вспыхнул изнутри, бросил блик на стену. Солнечный зайчик, солнечный слепень, присосавшийся к горлу.

Когда впервые обнаружил эту штуку забравшейся на шею, он не очень обеспокоился, да тогда и она была небольшой, мутноватой горошиной, такие же веди происходят постоянно. Это могло быть связано много с чем - с какими-то дрячимися ожиданиями, например. Но дела его совершались и завершались, время шло, а бусинка не отпала; но стала расти, теряя мутность, превратилась в прозрачный, почти правильной эллиптической формы нарост: сантиметра два на полсантиметра, потом чуть сжалась с одного конца, немного оплыл с другого.

На такие штуки внимания обычно не обращаешь, некогда, наконец, с ними разбираться. Появилась - исчезла. На каждый чих не наздравствуешься, да и что за радость разбираться со всеми этими чешуйками, пятнами разных вязкостей и цветов, с областями как бы замшевой бумаги, выступившими на коже, со всеми этими наростиками, рассредоточенными по телу, соображая какой из них что именно может для тебя означать. Копаться в литературе, ходить на консультации... и стоит ли, все равно через неделю-другую не останется и следа.

Другое дело метки постоянные, как родимые пятна. Вот у этого человека, например, над левой бровью рубец не рубец, красный треугольник - от середины лба, клином сужаясь к уху. Клин свидетельствовал, что обладатель его был человеком не то чтобы робким-стеснительным, неуверенным в себе, что ли. Словом, был человеком с красным клином на лбу. Еще, его левое плечо заросло чем-то странным, похожим на спутанную леску, и отвечало это каким-то детским неуря-

дицам. Ничего особо особенного. Да и то – много ли среди нас совершенно чистеньких, не отягощенных никакими внешними приметам? Да нет таких вовсе.

Давняя его неудача на вступительных экзаменах в художественный институт оставила на его теле темно-коричневый, в вечернем освещении – зеленоватый, выпирающий шов на правой руке: от большого пальца к запястью. Шов немного мешал, особенно при письме – быстро уставала рука, да еще иногда, не понять с чем это связано, от шва исходил горьковатый, слегка парфюмерный запах. В целом же он был практически здоров раньше, ничто из этого не могло сказаться на организме явно; увы, подобные вещи могут, например, затянуть глаз, склеить вместе все пальцы руки, да мало ли что еще. И это, увы, только то, что может увидеть любой встречный, а что там творится с человеком еще – просто стараешься не представлять.

У всех все приблизительно похоже: походи по городу, присмотришь – обязательно наткнешься на то же самое, что и у тебя. Да к тому же все случаи внесены в каталоги и справочники – валяй, просвещайся, если уж так себе интересен. Вот то и было погано, что его случай отсутствовал. Он и свой общедоступный справочник изучил, и у приятеля-специалиста в книги на полке заглянул (а спрашивать его не стал), сходил даже в библиотеку и пересмотрел каталоги уже профессиональные – нигде. Паршиво, конечно, – поди знай, как поведет себя неописанный случай: а ну как, например, продолжит расти, отяжелеет и вывалится из шеи, и через этот свищ уйдет вся кровь? или вдруг он растет вглубь и вскоре перекроет горло? Думать об этом, понятно, радости мало, а и не думать – как? Пусть даже это не опасно, все равно – он уже более месяца думал почти исключительно об этом, на пользу что, разумеется, не пошло – он постоянно, каждый раз вспоминая о напасти, покрывался весь какой-то мелкой кирпичной, красновато-рыжей пылью; приходилось отряхиваться, смахивать щеткой – дожидаться, пока она исчезнет сама, заведомо не получалось: исчезнет – тут же вспомнишь опять и снова весь в этой дряни. Неладное творилось и с его комнатой, до того спокойной, светлой, замкнутой; теперь же этот мягкий, золотой, крупнозернистый шар потерял теплоту, в нем появились щеди, сквозь которые постоянно сквозило, да еще на полу образовалось черное, слизистое пятно, пахнущее какой-то сывороткой – это были дела какие-то другие, но тем не менее. Веселья впереди, короче, не ожидалось.

Выход виделся единственный – спросить. Не у спецов, разумеется, – у такого же как он, только знающего о себе поболее. И сегодня он перешел эту грань – отворачиваясь к подобному попрошайничанью, к соглядатайству, перешел ее в самом деле, решил: ногти его в один миг стали вдруг блестящими, зеркальными, и он не отказал себе в удовольствии поиграть, подставляя их под свет, полюбоваться десятью световыми вспышками – что, впрочем, оказалось не просто, и он минут десять провел возле окна, стараясь подставить, изогнуть пальцы так, чтобы засияли сразу все десять ногтей.

Город был летним, ленивым, светло-салатного цвета, небо бежевое, выше – серо-белое. Влажный, слегка прелый день. С государством, похоже, что-то происходило, потому что одна из опор его конструкции, утыкающаяся в землю в районе порта (громоздкая металлическая лапа в волдырях заклепок, стягивающие элементы, переходные лесенки; махина полуржавая, в пятнах сурика) как-то изменилась: конструкция нынче выглядела более основательно, нежели два дня назад; она обновлялась, что ли, – не спеша, как бы восстанавливая свой металл из окиси, утолщаясь при этом в своих балках, в своем тавровом железе, делалась приземистой, накапливала в себе металл, и внутри, как мышцы под кожей, ощущалось присутствие каких-то не то вакуолей, не то резервуаров, заполненных еще непонятно чем, обещавшим в ближайшее будущее то ли выстрелить струями какой-то жидкости, то ли пустить новые металлические ростки, то ли разродиться тяжелым, густым выплеском краски, которая потечет по конструкции, окрасивая ее нижние части.

Было уже за полдень, на улицах сохранялся еще разный ночной хлам, к которому добавилось уже выпавшее за утро: какие-то чешуйки, какие-то кучки, растоптанные цветочные головки, лужи чего-то состоявшегося ночью, разорванные в клочки купюры, дорожки, похожие на рассыпанный мак, звуки вроде зуда напильником по гире.

Он безрезультатно прошелся по вполне еще пустым улицам: ничего похожего, все ходили в легких летних одеждах, мельтешили своими веселыми цветными телами, покрытыми общим для всех летним налетом – похожим на пыльцу: такой легкий и расслабляющий порошок, к осени ближе эта пыльца сгущается, входит, въедается в кожу, охраняя ее некоторое время от осенних непогод, держится до середины зимы, пока не ошелушится вместе с израсходованной

кожей. На него большинство смотрело неодобрительно - очень он был не летним, тяжелым, смурным, и еще этот дурацкий, совершенно не по погоде шарфик, которым от тщательно закрывал шею, выходя всякий раз на улицу.

Первый человек, как он прикрывавший себе шею, встретился на углу Энгельса и Горького, на спуске к Ханзас. От неожиданности он пропустил его мимо, опомнился, обернулся и, не сообразив ничего лучшего, спросил его, где тут улица Мелнгайля. Тот тоже обернулся - он был уже шагах в пяти - и, одну руку по-прежнему держа у ворота, свободной растолковал, как идти к Мелнгайля: прямо-налево-направо. Под левой рукой у него был как бы мох, или серая шерстка расплзшегося, вероятно, по груди и выехавшего к подбородку пятна - ничего страшного, такие штуки метят обычно уязвленное самолюбие, ему, видимо, только что где-то нахамили.

Потом долго никто не попадался, он уже и на троллейбусе проехал, и на вокзал зашел, и по магазинам потолкался. Проскочил, правда, мимо один какой-то закутанный до ушей, но он был явно ни при чем: весь на звезде, какой-то сумасброд, весь увешанный какими-то легко звенящими бубенчиками, поскакал вперед, торопясь, весь бело-розовый, с блестками, слегка рождественский и хрупкий - шмыгнул в одноэтажный дом в каком-то дворе - внутри которого, однако, можно было разглядеть отнюдь не подобие цирка-шапито, но развороченную квартиру, в которой месяц уже этак четвертый протекает не торопясь пир во время чумы: трудно понять, как такому веселому ему удастся согласиться с этой засаленной, притупившейся чувственностью, с несвежими простынями, пустыми, как бы осевшими бутылками, с тяжелой, свинцовой, привинченной к полу мебелью и посвинцовевшими пирующими, как бы вплавившимися там в эти стулья и кровати, прилипшими руками к стаканам, к сигаретам приварившимися губами.

Обращаться к профи было нельзя: в лучшем случае затеется наука, с ним приступят разбираться, запихнут на месяц в стационар, исциплют, исколют, изанализируют, заисследуют - заинтересованные не им, разумеется, а возникшим случаем и новым объектом природы. Выяснят, если удастся, состав, занесут в каталог (все это, если его случай не относится к уже известным закрытым, о чем лучше и не думать, худо тогда будет, очень худо), раз -

берутся, может быть, даже с ходом процесса. Но ведь не скажут - и не потому даже, что запрещено: в самом деле, откуда им знать, что с ним будет дальше? Для этого статистика потребна, отжитые жизни. Прокантуют в стационаре, поставят на учет, будешь еженедельно отмечаться и раз в месяц ходить на осмотр. Потому он и разгуливал в шарфике: есть специальные люди, у них глаз наметан, дело такое. Стационар принудительно, плюс статья. Что ж, в принципе, можно понять и их - а ну как эпидемия? Кодило однажды полгорода с лицами в оранжевый горошек по зеленому, смешно - теннис какой-то, да только не очень смешно.

Конечно, подобные ему, конечно же, без особенной необходимости из дому нос не высунут. Остается заглядывать в окна, а там что : комнаты, заполненные примерно одной и той же обчеласпро-страненной субстанцией, маломощной, пахнущей отчего-то грибами, схожей с вещами вроде ватина, брезента, полиэтилена, глюканата кальция. И потом, эти постоянные сумерки среди бела дня, поставляемые в квартиры словно централизованно, валящие изо всех дыр; сквозь этот слой лишь коегде поблескивало что-то доброе, произошедшее там сегодня-вчера среди вязких в этих сумерках телепередач, дикторов, футболистов, дурацких вечеров и скандалов, в свой черед сложившихся уже за годы во вторые сумерки, первым как бы перпендикулярные, стоймя. Лишь изредка в квартирах возникало нечто симпатичное - вроде поручика из Рязани, большого охотника до сапог, примерявшего уже сорок восьмую пару - понятно, что там читали вчера вечером.

По привычке, автоматически он просунул руку под платок и оцупал шею - могло исчезнуть, бывали случаи. Не исчезло. Гладкое, холодило пальцы. Чем бы эта штука ни была, а жизнь она ему уже перевернула. Казалось, что не обрати он в свое время на нее внимание, на тогдашнюю бусинку, - ничего бы с ней не произошло, сошла бы незаметно, как что угодно ей подобное. Он думал об этом кристалле, потому что тот вырос у него на шее, но вырос-то потому, что он думал о нем. Беда была уже даже не собственно в этой штуке, но в отторжении от окружи, в выпадении из гнезда, которое себе соорудил и которое себе соорудил в постоянно переменчивом городском и далее миропорядке, весь набор изменений которого не выходил все же за рамки некоего расширенного алфавита городских вещностей с большим числом букв-форм жизни: этих разных домов, этих разных людей, обросших ракушками своих соответствий,

картин в окнах, этих исчезающих, растворяющихся, но какое-то время еще плотных, загораживающих видимость городских происшествий (на углу Кришьяна Барона и Сарканармияс, где он теперь стоял, до сих пор догорали еще, истончались два столкнувшихся автомобиля, такси и жигуль, осколки на мостовой уже рассеялись, оставались кузова и расстроенная кукла владельца жигулей). Его случай был литерой новой, и, хотя казалось, что произошло пополнение пространства, новое это оказывалось щелью, заглянув в которую можно увидеть пульсирующую пустоту, не освещенную даже спичкой. Вот еще что: он не мог, конечно, счесть, что подобное произошло с ним лишь одним, такие случаи должны были быть и раньше — так где они? Становилось понятным, что все изменения, дополнения в справочники вносились втихую, без объявлений; куда же исчезали те, с кем это произошло и кто мог бы рассказать о том, как это все происходит? Ни рассказа, ни вести даже просто о самом факте: я, скажем, знаю кого-то, с кем такое случилось. Сличить разные издания каталога мог, занявшись этим специально, всякий, обратить внимание на то, что изменения происходят и теперь, — лишь только тот, с кем это произошло. Вот в чем дело. Но куда они все исчезают? Кто они? Что с ними?

Так испуг заставил его искать дальше. Здесь, в скверике по диагонали от столкнувшихся машин, сидел некто с таким же замотанным горлом. Он спросил сигарету, застегнутый до подбородка покопался в своем мятом пиджаке, извлек растерзанную пачку "Памира", сунул под нос. Выглядел ужасно, в каких-то весь муравьях, покрывавших его густо, в избытке копошась на лице, два свалились на сигарету, пришлось сочелкнуть. "Что же в такую жару да так замататься?" — было спрошено у обросшего муравьями, тот весь втянулся в пиджак, настороженность возникла где-то в его поясице, вскарабкалась ящерицей по позвоночнику, взобралась на голову, стояла там настороженно, поводя головой из стороны в сторону, вяло высунув раздвоенный фиолетовый язычок. Говорить тот не намеревался, скорее всего он был уже мертвый: ящерица эта, слабый ток крови и пачка "Памира" — вот, собственно, и все, что дополняло, дотягивало до существования его тело, одежду и муравьев.

Следующий час не заслужил описания: все те же улицы, ноги, начавшие створаживаться от усталости. Пора было ехать домой.

В автобусе народу было не слишком много, речь не о том, машина резко затормозила: то ли выбоина, то ли кошка, то ли привиделось водителю что-то. Сосед, читавший газету, полетел

вперед, успел схватиться за поручень – ничего особенного, но на его запястье блеснули часы, выехавшие из-под манжеты рубашки. Гулявший весь день понял, что он не имеет представления, который час, – собственно, непонятно, зачем это было ему важно, – и осведомился о времени у падавшего. "Извините, я без часов", – ответил тот. "Полдевятого", – сказала какая-то сидевшая подле них женщина. Спрашивавший пригляделся к манжете – там, под ней, определенно что-то было.

И точно так же на следующем толчке он сам уже сыграл падающего, как бы попытался схватиться за поручень, ухватился за руку соседа, стянул манжету – успел взглянуть. На запястье – вплавленный в кожу кристалл правильной овальной формы, безукоризненно гладкий, холодный на ощупь, но – светящийся изнутри.

Выйдя за ним, он настиг его, когда тот входил в дом, уже на лестнице. Произнеся что-то вежливо-несуразное, остановил его и размотал свой шарфик.

Но все это – уже совсем, совсем другая история, которая, возможно, еще сумеет оказаться когда-нибудь рассказанной.



ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

КРАКОВЯТСКИЙ ПОЛОНОК
и другое
из шестидесятых - в восьмидесятых

х * *

САМБА - МАМБА

. . .

Вдоль мечети шел с мечете
перуанский агроном.

Вышла дама из трамвая
с веером из Кустаная

Поглядел мужик на д
и родную вспомнил м .
- Дай мне, мамочка, кос,
а не то получишь инос!

Но недаром кустанаяны
по утрам рубают я .

И Петлюра, и Мама
обходили Кустаная.

.....

Агроном заморский, знай!
Кто приходит к нам в мечети,
сам погибнет от мечете!

О БУТЫЛКЕ ПОРТВЕЙНА №13

. . .

В 68 году
пили мы портвейн в саду,
но прошли года, и пьянство
наше милое забылось...

Только сторож сумасшедший
с палкой ходит, наблюдая,
чтоб зеленая бутылка
на газон не покатилась.

КРАКОВЯТСКИЙ ПОЛОНЕЗ

/прелюд/

Мой дед – безумный польский гетман.
Он гарпезвал на лошадях.
Его невеста тетя Мотя
была впоследствии мне мать.

Она его восточный абрис
на карем коврике ткала.
И не чужда была ей лира,
ни меч булатный, ни рапира.

Но этот коврик был восстаньем! –
он красной кровью был залит,
в которой дед мой был убит,
а конь при нем высокородный
стрелой хазар смертельно ранен.

Я был тогда кудрявый мальчик,
не принимающий любви,
" белый венчик розы чайной
в тоске, сверкающей отчаяньем,
невесте тайно не дарил.

Теперь в ликерную направлюсь,
миндаль османский расколю
и на паркет в стеклянной зале
лорнет хрустальный уроню.

– Жопен! Вас просят танцевать!
Раздалась польская мазурка,
и как бы снова Дед-энд-Мать
скрестились в танце огнем,
как знак на гербе родовом –
+ стальной палаш и чернобурка!

+...Торзо-этнографическое произведение, раскрывающее в лаконичной доходчивой форме биографию косо-иноязычного юноши, потомственного и фамильного загнивающего псевдо-аристократа, также о взаимоотношениях членов его рафинированной семьи с недавним историко-героическим прошлым, овеянным легендами и запечатленным в памятных сувенирах и изделиях

ТЕРМИТНИК ГРАДА

окт.69

Остриженные белые вороны
со скрежетом о трубы трут клювами.

Сегодня с их хвостов видна долина
со склонами и шумом водопадов,
и с хитрыми кунишами степными,
из чьих хвостов сиреневые шапки
шьет молодежь иголками стальными.

Малиновка в ушах звенит, как клипса,
во зное, над долиной, возле града.
Я вспоминаю родственное слово – с термитником –
и с грохотом въезжаю на площадь круглую
с квадратом магистрата.

Как в октябре созревшая рябина
дорожки сада бисером кровавым оросила,
так после буйств ночного карнавала кварталы
кровь разгульная растлила.

На всех углах фистоны распустились,
атласные штандарты на флагштоках, на кумаче
гирляндами эмблемы, срывают их и словно веерами
обмахивают лгуньи напускные улыбки с мозаичными зубами.

Случайной ссоры ищут кавалеры –
под шляпами зловещие ухмылки, кинжалы
под плащами смоляными.

Попрятались в дома соглядатаи,
захлопнув ставни, бойню предвкушая, облизывают губы
и косыми к щелям резным глазами проникают.

Уж так ли злоба их одолевает, что посвист дятый
душу холодит, и черный дым термитника пьянит,
и град стальной на город выпадает?

. . .
...Люди в одеждах
из чистого золота,
радостные, но злые
– могут убить без всякого повода...

ЯРМО ПОЛЕЙ

Я слышу коростеля клич.
 Я слышу жаворонка песнь,
 стрекоз сухой как вереск треск
 и бабочек скользящий шелк...

Я слышу гром.
 Гремит обоз, срезая вереска края.
 Как жила вздулась колея.
 Клокочат куры из корзин.
 Под резаком визжит свинья.

Окрестные простолюдины
 товар на ярмарку везут
 по колеям пустой долины -
 покладь и снедь и мертвечину.
 Гундосят в нос и чешут спины.

Я слышу вереска края,
 лозы стенания в лощине,
 угар спаленного жнивья...

По колеям между полями:
 телег и тарантасов тьма!
 Куда спешат простолюдины?
 Спешат зарницами утра?
 Коней казнят, кнутом стегая,
 бранят и обагрят спины...

Ярмо полей - барыг орда.

. . .

... Дискант параноичного сверчка
 и пеньюар ромашки разбеленной -
 распахнутый пикейный парашют...
 Орда умрет!
 От воздуха в желудке,
 когда надуется астма паруса,
 и разлетится в клочья оболочка,
 и василек забьется в волоса.

ТРИОЛЕТ О ГОРЕСТНОМ ПОДАРКЕ

9 янв. 71

• • •
 Что подарить возлюбленной моей?

- Пустую голову и сердце изо льда,
 отчаяний и горечи года.

Что подарить возлюбленной моей?

- Увядшую с годами красоту,
 любовника, засохшего в шкафу.

Всего скорей дарить придется ей
 сивушную отрывку поутру -
 иль то подчас тупое выраженье,
 к которому безделие ведет,
 обилие еды и отвращенье.

Что подарить возлюбленной моей?

- Густых борщей наследственный секрет,
 свидетельство, что сифилиса нет.

Что подарить возлюбленной моей?

- Для угрызений совести пилу,
 когда прибьет она меня в пылу.

Всего скорей дарить придется ей
 блуждающие искорки в мозгу -
 иль то подчас внезапное желанье
 два пальца в дырки степселя воткнуть,
 без пытки на лице, без лишнего страданья.

Что подарить возлюбленной моей?

- Презрение к вонючему углу,
 укор предназначенью своему.

Что подарить возлюбленной моей?

- Все то, что демон выдумал с отчаянья,
 всю ненависть, которой нет скончанья.

Всего скорей дарить придется ей
 рулады наркотического бреда -
 иль то подчас рыдание во сне,
 которое рассветы возвещает
 и вечное проклятие земле

ПРОЩАНИЕ

окт. 69

. . .

Разулся я и ноги опустил
 в ведро, наполненное кровью.
 Горячий свет от лампы жжет
 чело и мозги расплавляет.

Сегодня будет на обед
 бисквит из саранчи.

Придет старуха и кривым
 меня ножом проткнет.

А мимо женщина скользит,
 вычесывая шерсть.

Рыдает гадостный шакал
 с тех пор в груди моей.

Свиньей стал друг и заключен
 в объятия свиньи.

О сердце черное, прости
 мой горький монолог.

Рыданья только и тоска
 стучатся в дверь мою.

Прошу, входите, господа,
 сюда, прошу, прошу!



Вячеслав БЕЛКОВ /р. 1947, г. Ленинград/ Предлагаемая
 публикация-из стихотворений, включенных в книги "НЕВЕР-
 МОР", "ДЭНДИ", "МЕЧ", "ТРОЛЛЕЙБУС", "АКИ", "ПРОЦЕСТ".

I Из Катулла

О пташка бедная! лишь у неслоговое
озябший разговор пронзит
и ненадежное слепое
сердечко затрещит

Вотще на легкие частицы
рассеется – но гордо вновь
аорта бьется пульс стучится
пристекает кровь

2.

Здесь в обескровленной груди
в предстательной волне содома
иль ненароком посреди
разрезанного тома

такое терпкое пятно
валун захлестнутый потоком
ему и больно и смешно
и бес грозит ему в окно
с мечтательным упреком.

3.

Что ж – и поленницу культуры
надоедает ворошить
тащи исак мануфактуру
садись-ка саван шить

чтоб эту жизнь недорогую
удав заморский не стянул
ложбинки выточить на пуле
с удавкой влезть на стул
сомнительный пустопорожний
достойно завершая путь
чтоб в сонме ангелов ничтожной
беспечной птичкой промелькнуть.

Олег Григорьев

СТИХОТВОРЕНИЯ*

. . .

о д н о с т и ш ь я —
п е р е в е р т ы ш и

Л е г .

Лег на одре в тень нетвердо ангел.

Л е д .

Лед ретал от судорог.

Деликатес в жар аж все-таки лед.

Л и .

Лазеси се за око.

Нам боли мил обман.

Л и т ь .

Лити боль злобятя.

Кора годов и вод огарок.

Л и с и .

Лисни будь и ты дубиной.

Индо мы два в дым одни.



Олег Григорьев (р.1943) — ленинградский поэт и художник.

Вышедшие в издательствах "Детская литература" и "Малыш" книги ("Чудаки", 1971; "Витамин роста", 1980; "Как поехать без колес", 1983), а также немногочисленные публикации в периодике не дают, к сожалению, полного представления об уникальном поэтическом даровании О.Григорьева, без творчества которого невозможно представить ленинградское независимое искусство последних 20-ти лет.

* Издание: "Сумерки".

Д В У С Т И Ш Ъ Я

С измятой встали мы постели,
От складок полосы на теле.

Репел человек в коляске,
Видно хотел он ласки.

Если б знал, что падать тут,
Патянул бы я батут.

Раскрылись глаза в глазах,
Вся голова в слезах.

Мы разошлись, и, как прежде,
Спать я ложусь в одежде.

Глаза безглазы и лица безлики
После прихода военной клики.

Вытекает на пол тесто,
Голос слезу и протеста.

Чтобы выразить все сразу,
Лулаком я бью по тазу.

Я волновался от страха,
Как на веревке дубаха.

У меня трещали коленя,
Как плавающие поленья.

Т р е х с т и ш ь я

И сон клонит.

Виду во сне —

Слон конит.

Тело, выведенное из состояния покоя,

сломало стол, стул, кровать

и многое другое.

Я умер от варенья,

Наконец пришло-таки

Умиротваренья.

цель жизни — умереть не страдая —

формула очень сыкая

и в то же время простая.



Ч Е Т Ы Р Е Х С Т И Л Ь Я

Поставил посуду под кран,
Удухо треснул стакан,
Звонко и как-то весело
Лена олеуху отвесила.

Участковый стал в двери стучать,
Возвращаясь в плазмок следил, даже в оба.
С таким же успехом он мог стучать
В квартиру моего проба.

И спросил электрика Петрова.
— Для чего ты намотал на шею провод?
Петров мне ничего не отвечает,
Висит и только ботами качает.

Кресло рассохлось, не починить,
А на свалку выбросить жалко,
Буду друзьям и гостям говорить,
Что это — кресло качалка.

Шел домой я на почлег,
С майкой встретился калек.
Не помог ни бокс, ни бег,
Стал я одним из их коллег.

Дали мне портфель, сказали — поддержи,
Другие схватили за ворот, кричат — держи!
Я говорю — да я и так держу!
Поддержал портфель, теперь вот сижу.



Ж е н а

Принес я под мышкой дорожку,
Свернутую в рулон.
Мена открыла окошко
И выкинула ее вон.
Нет, не понять мне женского полу;
Кому Зосой по холовному полу.

Застал я с ним мену раздету
И объявил ему вендетту.

Мену я свою не жаю
И никогда не брошу её:
Это сомной она стала плохая,
Взял то ее я хорошую.

Лежит мена на кровати
В рентгеноупорном камате.
А я в дуфайке на вате
Лезу в ногах у кровати.

Поставил мне синяк
Без всякого повода, так.

Растворил мену в кислоте —
Вот бы по каблу зажали! —
Да дети нище пошла не те,
Взали да заложили.

С и з о в

Я шел во тьме на зов,
 Пришел уже на воши.
 В кустах лежал Сизов,
И кровь текла, как сопли.

- Эй, друг, да не ори,
 Влезай ко мне на плечи.
 Большие фонари
 Цветыми, точно свечи.

Я шел, а он искал
 И по карманам шарил
 Вдруг за спиной сказал:
 - За что меня ударил?

И сразу стал душить,
А ведь душим напрасно,
 С таким, как он, дружить
 Не скучно, но опасно.

Принес его домой,
 Еще не долго злился -
 Разбил серпант ногой,
 А к утру облочился...

Пожли, бутылки сдали,
 Дружьями снова стали.

• • •

С бритой головою
В форме полосатой
Коммунизм я строю
Ломом и лопатой.

Мили мы тесным кругом,
Стоя на двух ногах,
То, что хотели сказать друг другу,
Было выколото на руках.

Где же мой лом и кувалда,
Куда девалось кайло?
— И лом и кайло и кувалду
Оползнем унесло.

Убитую у сквера
Припомнить не берусь я.
По заколкам Вера,
А по иркам Дуся.

В самую темную почку
Проник в ювелирный отдел,
Действовал я в одиночку
И после о том не жалел.

Курями с коллей апишу,
Сидели на паркете,
Он вешал на уши лапшу,
А я ему спагетти.

На звезду кобура болталась,
Сбоку пивка отцовская звякала.
Впереди меня все кохотало,
А позади все плакало.

Один башмак мой гавкал,
Другой башмак пищал,
Покинуть предложили
Мне танцевальную зал.

Наложил на рельсину
Тормозной башмак,
Надо ехать впереди,
А ему никак.

Лежу на мешке с сеном
И дурю в потолок,
Бегает тараканы по стенам,
Слышен топот их ног.

Обломки стула
Лезет дыма,
Отломки стула
Отстулки дыма.

Крест свой один не сдержал бы я,
Нести помогают пинками друзья.
Ходить же по водам и небесам,
И то и другое, умею я сам.



Сергей Седов

ПРО ЛЕШУ, КОТОРЫЙ УМЕЛ ПРЕВРАЩАТЬСЯ
ВО ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ...

* * *

Жил-был мальчик Леша. Он умел превращаться во все, во ВСЕ!
Вот раз превратился в Голубя, уселся на подоконник
и постучал клювом в окно. А мама как закричит:

-КЫШ! ЧЕГО УСЕЛСЯ!

Она его, конечно, не узнала!

А Леша и говорит:

- Я ЖЕ ТВОИ СЫН ЛЕША, А ТЫ МОЯ МАМА ЛИДА!

Тут мама поняла, в чем дело и дала Леше орешков засахаренных и лимонада. А Леша стал в воздухе разные фигуры выписывать - соседи смотрят, удивляются. А мама им говорит:

- ЭТО МОЙ СЫН - ЛЕША! У НЕГО НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ.
Я ЕГО ОТДАМ В АНГЛИЙСКУЮ ШКОЛУ, И В МУЗЫКАЛЬНУЮ, И В ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ!

* * *

Однажды мальчик Леша делал домашнее задание. А одна задача не решалась! Тогда он позвал маму, а сам превратился в муравья и залез в чернильницу. А когда мама думала, как решить ему задачку, он незаметно выполз из чернильницы и залез на тетрадку. А потом как превратился обратно сам в себя, да как закричит:

- АГА, МАМОЧКА! КЛЯКСУ ПОСТАВИЛА!

А сам показывает место, где сам только что ползал. Мама удивилась:

- КАК ЖЕ ЭТО - Я ВЕДЬ ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ ПИШУ! ОПЯТЬ КАКИЕ-ТО
ТВОИ ФОКУСЫ! НЕ БУДУ БОЛЬШЕ РЕШАТЬ!

И ушла на кухню.

А Леша быстренько превратился в академика Александрова, решил задачку и побежал играть в футбол.

* * *

Однажды Леша заболел одной Детской Болезнью. Ему надо было полежать-поболеть, а он начал превращаться - в разных взрослых... Хотел, чтобы они с этой болезнью справились.

Сначала он превратился в здорового культуриста и стал

свои мускулы показывать. Но болезнь не испугалась, набросилась на этого культуриста! Он как задрожит, закашляет, заплачет – и забрался в постель, под одеяло – со всеми своими мускулами!

Тогда Леша превратился в Космонавта, потому что космонавты никогда не болеют... Космонавт как раз готовился к космическому полету. А врач ему говорит: "Ну-ка давай измерим температуру перед стартом". Измерили – целых сорок градусов! Это все Лешина болезнь подстроила. Не пустила Лешу в космос – опять уложили в постель, под одеяло...

Леша под одеялом подумал немного и превратился совсем наоборот – в слабенького-слабенького мальчика – еще меньше себя и еще хуже... Болезнь стала с ним бороться, а потом видит он такой слабенький – и отпустила его – что с ним возиться, не интересно...

* * *

Получил Леша двойку.

- ЧТО ЖЕ ТЫ, ЛЕША? – сказала учительница, – НА ТЕБЯ ЭТО НЕ ПОХОЖЕ!

- НЕТ, ПОХОЖЕ! – ответил Леша и превратился в большую жирную двойку.

А учительница пошла к директору и говорит:

- Я НЕ МОГУ ВЕСТИ УРОК! У МЕНЯ В КЛАССЕ СИДИТ БОЛЬШАЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ОТМЕТКА. КТО-ТО ЕЕ ПРИВЕЛ В КЛАСС.

Директор очень рассердился и сам пошел разбираться. Заходит и видит: сидит в классе аккуратненькая Пятерка – и объясняет новый материал. Он, чтобы не мешать, вышел тихонько и говорит:

- ЧТО ЖЕ ЭТО ВЫ, НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, ДВОЙКУ ОТ ПЯТЕРКИ НЕ ОТЛИЧАЕТЕ? УСПЕВАЕМОСТЬ ОТ ЭТОГО СТРАДАЕТ!

* * *

ОДНАЖДЫ Алеша попал на аукцион. Там продавали лошадок.

И, конечно, Леша стал лошадкой – самой лучшей.

И все-все хотели его купить: и англичине, и американцы и даже французы. Никто не хотел уступать. Американец десять тыщ пообещал за Лешу, а англичанин – двадцать. Тогда американец – тридцать, тогда англичанин – сто, тогда американец – двести!...

А ЛЕША ТЕМ ВРЕМЕНЕМ становился постепенно все лучше

и лучше - все породистей и породистей!

Американец разошелся: "Миллион!" - кричит. А англичанин ему не уступает: "Два миллиона!!"

А Леша уже стал САМОЙ ЛУЧШЕЙ В МИРЕ ЛОШАДЬЮ!

И все были в таком восторге, что даже начали сходить с ума, особенно американец и англичанин - стали из-за Леша драться и кусаться, чуть война не началась!

- Да ну вас! - подумал Леша и стал ухудшаться!

Ухудшался, ухудшался, ухудшался - и статью, и породой, а потом вообще превратился в КОНЬКА-ГОРБУНКА, стоит, травку жует...

Иностранцы только руками развели:

- И чего мы ссоримся из-за какого-то горбунка - ни стати, ни породы, - и пожалы друг-другу руки - не стали воевать...

И Лешу покупать тоже не стали.

- Ну и ладно! - подумал Леша, взмахнул хвостом и ...

ПОЛЕТЕЛ... к маме... ВСЕ ТАК И АХНУЛИ!

ж ж ж

Мальчик Леша превратился в солнечного зайчика. И как раз мама стала звать его обедать:

- ЛЕША! ИДИ КУШАТЬ! СУП ОСТЫВАЕТ.

А Леша побежал по стенке на потолок, а потом прыг оттуда прямо в тарелку с супом. И весь суп проглотил, а сам опять на стенку - сидит, смотрит. Мама как глянула в тарелку - чуть не упала от удивления.

-А-А-А-, - подумала умная мама, - НАВЕРНОЕ, ЛЕША ПРЕВРАТИЛСЯ В ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКУ, - и пошарила рукой по Лешину стулу - но ничего не обнаружила!

В это время Леша съел и второе и третье, а сам залез на стенку как ни в чем не бывало. Со стенки он прыгнул во двор и превратился там обратно в мальчика. Он закричал маме:

- МАМА! Я ОЧЕНЬ ПРОГОЛОДАЛСЯ! ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, Я УМИРАЮ ОТ ГОЛОДА И УЖЕ БЕГУ К ТЕБЕ КУШАТЬ...

И прибежал... И увидел, что мама горько плачет и говорит:

- Лешенька, прости меня, милый, МНЕ НЕЧЕМ ТЕБЯ НАКОРМИТЬ - КТО-ТО ВСЕ СЪЕЛ.

А Леша сказал:

- Я знаю кто - ЭТО Я ВСЕ СЪЕЛ!

Мама так обрадовалась!

Однажды Леша превратился в поезд и поехал... И пассажиров повез. Ехал-ехал, а потом ему надоело, и он обратно в себя превратился. А пассажиры видят: поезда нет.

- Где же наш поезд? - спрашивают.

- Это я - поезд, - сказал Леша, - только я дальше не поеду - мне домой надо, а то мама ругать меня будет.

- Да не будет! - закричали пассажиры.

- Нет, будет! Вы мою маму не знаете! - сказал Леша и побежал домой.

Прибежал и рассказал маме про все про это, он думал, она его похвалит. А мама говорит:

- БЕДНЫЕ Пассажиры, ехали-ехали, пили чай, думали: мы едем в настоящем поезде, и вдруг бах! - поезда нет... как тебе не стыдно! раз уж превратился в поезд, нужно до конца ехать, по расписанию, а если опаздываешь, превратись в самолет - и пассажиров отвезешь, и домой успеешь - ты ведь не маленький уже, должен соображать... ну как я теперь буду людям в глаза смотреть, когда у меня такой сын?

Посмотрела мама на Лешу - а его нет - он уже в самолет превратился и летит за пассажирами... Мама только успела ему в окошко крикнуть, чтобы он к ужину не опаздывал...

Понравилась Леше одна девочка - очень красивая. Очень-очень! Он подошел к ней тихо и говорит:

- Давай дружить.

И они пошли гулять во дворе. Гуляли, гуляли - а было жарко, и девочка говорит:

- Эх, если бы сейчас мороженого, да денег нет! как жалко, ай-яй-яй!

Леша вздохнул и превратился в Эскимо за двадцать копеек. И девочка его съела - она даже не заметила, что Леша нету - пропал. Выкинула она палочку и пошла на танцы. А палочка тихо превратилась в грустного Лешу, вздохнула и пошла к маме.

Больше Леше не нравилась эта девочка. Нравилась другая...

* * *

И вот Леше понравилась еще одна девочка. Только этой девочке нравился другой мальчик – Петя.

И вот Леша превратился в Петю, и они пошли с этой девочкой гулять.

И вдруг им навстречу идет настоящий Петя и говорит: ЭТО Я ПЕТЯ – и как даст Леше кулаком! Леша упал и превратился в Лешу.

А Петя ему еще как даст! А потом еще! А потом девочке стало Лешу жалко, и она как толкнет Петю. Она была сильная! Петя сразу убежал...

А девочка говорит Леше: ДАВАЙ С ТОБОЙ ДРУЖИТЬ! Только ты больше не превращайся в Петю – ну его! Он мне больше не нравится...

* * *

Леша очень любил сказки Пушкина, и стихи тоже...

И вот как-то раз он взял и превратился в Пушкина – в Александра Сергеевича!

Все смотрят: Пушкин идет – Великий поэт! Подбежали к нему и стали просить, чтобы он еще что-нибудь сочинил!

И Леша им сочинил: сказку и одно стихотворение для детей, и еще одно – для взрослых – про любовь... А все кричат: Еще, еще хотим!

Но тут как раз пришла Лешина мама и говорит Пушкину:

– Как тебе не стыдно!.. Я уже целый час его ищу, а он тут стихи сочиняет! Бессовестный!.. А ну, марш обедать!

И Пушкин побежал обедать вприпрыжку...

А все сказали: Как жалко – столько еще мог сочинить!..

* * *

Раз Леша пошел в кино. На детям до шестнадцати... Его, конечно, пропустили, потому что он превратился в большого лысого дядю. Но кино было скучное, и Леша от нечего делать превратился в крокодила... Потом в кита. А стул под ним сломался! И его вывели из зала, потому что он загораживал зрителям весь экран.

В общем, так Леша и не посмотрел это кино, которое детям до шестнадцати смотреть не разрешается...

* * *

Как-то раз Леша ехал в автобусе. Было много народу и сесть некуда.

Тогда Леша превратился в старенького старичка, и ему сразу уступили место... Только Леше сидеть было неудобно: у него от старости спина разболелась - и ноги тоже болели... и шея... и зубы, и даже уши!

Но Леша терпел - обратно не превращался, а то бы ему пришлось свое место уступить - одной старенькой старушке - она прямо около него стояла!

Леша там чуть не умер! Потом все-таки превратился в себя и говорит старушке:

- Садитесь, пожалуйста...

Старушка так обрадовалась! Стала Лешу благодарить.

А Леша ей говорит:

- Что вы, не за что - мне так даже лучше!

Все подумали: какой замечательный мальчик...

* * *

Превратился Леша в пылесос. Пыли наглотался и расхотел быть пылесосом. Стал чайником. А мама поставила его на плиту, чтобы чаю попить - с вареньем.

Позавидовал Леша маме и стал мамой. И вот сидят две мамы за столом, чай пьют и разговаривают о своих детях. Лешина мама на Лешу не нахвалится: и добрый он, и способный, и лучше всех!

А другая мама - ненастоящая - головой кивает:

- ДА, ДА, НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАЛЬЧИК! НАДО ЕМУ СОБАКУ КУПИТЬ, ПИРОЖНЫХ ШТУК ПЯТЬ - НЕТ, ДВАДЦАТЬ! В КИНО СВОДИТЬ НА ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ И В КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ ОТПУСТИТЬ!

Тут настоящая мама поняла, кто перед ней сидит, глупости говорит! И перестала его хвалить!

* * *

Вот пошел Леша с мамой в магазин. Накупили они всякой всячины: и капусты, и картошки, ананасов, хлеба, молока, пять тортов, семь арбузов и много дынь. Накупить-то накупили, а кто нести будет? У мамы рук не хватает, а Леша еще маленький.

И вдруг видит мама: стоит около нее грузовичок, очень на Лешу похожий, и кивает ей: мол, ПОЕХАЛИ, МАМАША, ЧЕГО СТОИШЬ? Села мама в грузовичок, поехала. А тут - красный свет!

Милиционер как засвистит - и оштрафовал маму, за то, что ее сын не знает правил дорожного движения и едет на Красный свет.

А мама дома поставила Лешу в угол и говорит: "Я запрещаю тебе превращаться в грузовики и другие автомобили настоящие, пока не выучишь правила дорожного движения!"

Пришел Леша в школу. А была зима, и очень холодно. Леша превратился в белого медведя, взял портфель в зубы и пошел, совсем не чувствуя никакого мороза. А обратно он забыл превратиться. Пришел в класс, сел за парту... А учительница говорит:

- ВОТ, РЕБЯТА, ДАЖЕ БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ И ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ! ПУСТЬ ВСЕМ ДВОЕЧНИКАМ СТАНЕТ СТЫДНО!

Тут Леша посмотрел на двоечников и зарычал... Тогда все лентяи встали и сказали, что им стыдно и что они исправятся - а потом впервые в жизни сдержали свое слово!

Однажды в Лешину школу пришла Иностранная делегация.

Иностранцы хотели посмотреть, как у нас дети учатся. Директор позвал Лешу и попросил его продемонстрировать свои способности...

И Леша им показал!

Сначала он превратился в соловья - нашего, среднерусского, - и запел. Так здорово пел, что иностранцы прослезились и подумали: КАК ЖАЛКО. ЧТО МЫ ЖИВЕМ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО ЗА ГРАНИЦЕЙ А НЕ В ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ СТРАНЕ ГДЕ ПОЮТ ТАКИЕ СОЛОВЬИ АХ КАК ЖАЛКО!

Потом Леша превратился в Большой Пирог с яблоками - ему мама такой пекла - вкусный-превкусный, свежий, еще тепленький... и запах такой!.. Иностранцы стоят - слюни глотают и думают:

- КАК ЖАЛКО ЧТО ЭТО НЕ ПРОСТО ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ А МАЛЬЧИК ЛЕША И СЪЕСТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ - КАК ЖАЛКО!

А потом Леша превратился в огромного крокодила и так страшно защекал зубами, что бедные иностранцы перепугались и подумали:

- КИКИКАК ХОРОШО ЧТО ЭТО НЕ НАСТОЯЩИИ КИКИКРАКОДИЛ А ТО БЫ ОН НАС ВСЕХ СЪЕЛ- КИКИКАК ХОРОШО!

А потом Леша взял и стал АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВОЙ!

И тогда иностранцы официально заявили директору, что такого мальчика как Леша больше нигде нет ни в какой школе даже за границей хотя у них там все есть!

Директор был очень доволен. Он даже отпустил Лешу пораньше с уроков - по такому случаю...

ж ж ж

У Леша был друг. Он очень завидовал Леше, что тот может во всё превращаться. А вот друг не мог. И он очень горевал и даже плакал. А Леша ему говорит: "Не плачь,... вот кем бы ты хотел стать?" "Летчиком!" - говорит друг. "Пожалуйста", - отвечает Леша - и превращается в настоящий самолет. Залезай и лети!

Залез в самолет Лешин друг, а на что нажимать - и не знает, - как же тут полетишь?! Леша ему объяснял, объяснял - все без толку - слишком уж много там было разных кнопок, лампочек и рычагов - Леша постарался для друга - самым лучшим самолетом стал - СОВРЕМЕННЫМ, а не каким-нибудь кукурузником!

В общем, не стал Лешин друг летчиком - пока! Вот вырастет, научится - ТОГДА ОНИ ПОЛЕТАЮТ!

ж ж ж

Леша любил иногда ничего не делать. Совсем ничего! Совсем-совсем! Вот как-то он так ничего не делал - хорошо было!

А мама ему говорит:

- ЛУЧШЕ БЫ ТЫ В БУЛОЧНУЮ СХОДИЛ, У НАС ХЛЕБА НЕТ.

А Леше неохота было идти. Вот он взял и превратился в батон за тринадцать копеек. И лег на столе. Лежит, ничего не делает!

Но тут мама взяла БОЛЬШОЙ НОЖ и стала резать хлеб!

А батон как вскочит, как побежит в булочную... Он даже от страха забыл обратно в мальчика превратиться!

Прибегает обратно - с другим батоном - за восемнадцать копеек. И говорит маме:

- НА ВОТ, ЛУЧШЕ ЭТОТ РЕЖЬ. А МЕНЯ НЕ НАДО. Я ПОЙДУ В ХЛЕБНИЦЕ ПОЛЕЖУ. ТАМ ХОРОШО, ТИХО, СПОКОИНО, И НИКТО НЕ ПРИСТАЕТ...

ж ж ж

Мама ни за что не хотела купить Леше собаку. И вот пришлось Леше стать собакой.

Сначала он стал пуделем, красивым-красивым, и пробежал около мамы - а все лбуются им и завидуют маме, спрашивают, где купила, и за сколько рублей, и не хочет ли она его продать.

Но тут как раз пошел по улице огромный Сенбернар, и все побежали к нему, стали охать и ахать. Тогда Леша превратился тоже в сенбернара, только в два раза больше того! И все стали

опять завидовать маме. Все сказали, что Такую собаку надо отвести на Выставку Достижений Народного Хозяйства в павильон собаководства, и дадут медаль.

Но мама-то знала, что Народное хозяйство тут ни при чем — что это ее Леша, любимый и родной, — и, конечно, не стала отводить его на Выставку Достижений Народного Хозяйства, а пошла на кухню, вынула из борща мозговую сладкую кость и наградила своего удивительного пса за то, что он лучше всех!

ж ж ж

Раз Леша превратился в Тигра и пошел на улицу — гулять... А все от него разбегаются в разные стороны.

— Тигр! — кричат. — Тигр!

И не замечают, что это хоть и тигр — а все-таки Леша — глаза-то у него добрые, и есть он никого не собирает — так просто, гуляет.

Только одна мама с коляской никуда не убежала — куда же с коляской убежишь? Стоит она, а тигр все ближе, ближе... И говорит он этой маме:

— Вы меня не бойтесь, я Леша, у меня тоже мама есть — Лида...

А мама все равно боится — ужас как... и говорит тигру:

— Только моего сыночка не трогайте, ладно?

— Да вы что! — закричал Леша, — я же не людоед какой-нибудь. — Я Леша, а как вашего мальчика зовут?

— Моего мальчика зовут Вася, — сказала мама, — значит вы не будете его кусать?

— Какая вы бестолковая мама! — сказал Леша. — Вам говоришь, а вы не слушаете, ну тогда смотрите! — И Леша превратился в Лешу.

Мама обрадовалась сильно-сильно, обняла Лешу и говорит:

— Как хорошо, что ты не тигр!

— Ну вот, — сказал Леша, — а я что говорил?

ж ж ж

Заболела как-то Лешина мама — хотела врача позвать, но врач тоже заболел. Тогда Леша превратился во врача и пришел к маме.

— ЗДРАВСТВУЙТЕ, — говорит. — Я ВРАЧ, А ЧТО У ВАС БОЛИТ?

— У МЕНЯ БОЛИТ ГОЛОВА И ГОРЛЮ, — грустно сказала мама. — А ЕЩЕ У МЕНЯ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА.

- ТАК, - сказал Леша, - ГМ, ПОНЯТНО - ЭТО У ВАС НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ И ЕЩЕ ГРИПП СЕЙЧАС ХОДИТ, СКАЖИТЕ А-А-А.

Леша как опытный врач сразу понял, что маме нужен постельный режим, а еще горчичники и таблетки, чтобы сбить температуру. Но он знал, что мама этого не любит, тогда он сказал:

- Я, ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА, СКАЖУ ВАШЕМУ СЫНУ ЛЕШЕ, ЧТОБЫ ОН ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСЛЕДИЛ ЗА ВСЕМИ ПРОЦЕДУРАМИ И ЧТОБЫ РЕЖИМ ВЫ ВЫПОЛНЯЛИ СТРОГО! А ЕСЛИ НЕТ, ОН МНЕ ВСЕ РАССКАЖЕТ, И Я НАКАЖУ ВАС - ПРОПИШУ ВАМ САМУЮ ГОРЬКУЮ В МИРЕ МИКСТУРУ!

Мама испугалась и стала делать все, как сказал врач. Вот скоро и выздоровела!

* * *

Шел как-то Леша по улице - зимой. И чуть не упал, потому что было очень скользко. Все старушки падали и ругались. Пожалел Леша старушек и стал ДВОРНИКОМ. Достал песочку и стал посыпать им дорожку - чтобы старушки не падали.

А тут пришел Настоящий Дворник, вернее, это был Ленивый Дворник, потому что он плохо работал, - и вот этот Ленивый Дворник говорит:

- Иди отсюда! Я тут дворник!

А Леша ему:

- Нет, я дворник!

- А вот посмотрим, - сказал Настоящий, но Ленивый Дворник, - пошли к начальнику...

Пришли к начальнику, а тот и говорит:

- Сами разбирайтесь, а я не знаю, - вы совсем одинаковые!

Это Леша специально ТАК превратился!

Тогда тот Настоящий, но Ленивый Дворник как закричит:

- Это я, я дворник - я!

А Леша ему:

- А кто дорожки посыпал? Я!

А Дворник ему:

- А кто деньги получает за то, что он дворник? Я!

- А я теперь и деньги получать буду, - сказал Леша и показал лентяю язык.

Испугался Ленивый Дворник, почесал нос, подумал... и стал Трудолюбивым Дворником - побежал работать... А что поделаешь? - КОНКУРЕНЦИЯ!

У Леша была мама - Лида, а вот папы не было, это бывает.

Мама у Леша была красивая. На нее многие засматривались и хотели на ней жениться. Но мама не соглашалась. Потому что она думала, что Леше тогда будет хуже. Она решила посвятить ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ Леше, чтобы ему было хорошо. И Леше было хорошо. Даже очень. А вот маме не очень... И Леша решил исправить эту несправедливость - чтобы маме тоже было очень...

А тут как раз к маме пришел жених, чтобы жениться. Но мамы не было дома. Тогда Леша превратился в свою маму и стал испытывать жениха. Стал ему как будто бы про себя рассказывать: МОЛ, Я БОЛЕЮ ЧАСТО И ДЕТЕЙ У МЕНЯ МНОГО - ПЯТЬ ШТУК, И КРЫША ПРОТЕКАЕТ, И САУЗЕЛ СОВМЕЩЕННЫЙ, И НА РАБОТЕ МЕНЯ НЕ УВАЖАЮТ... А ЕЩЕ... но жених уже испугался и убежал!

Так Леша женихов испытал - всех-всех отвадил! Только один попался НАСТОЯЩИЙ. Леша его и ругал грубыми словами и даже бил! (Все, конечно, под видом мамы). А тот все равно твердит: ЛЮБЛЮ И ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ!

ВОТ ЭТО ЖЕНИХ, - подумал Леша и дал согласие!

Однажды Леша превратился в березку. Стоит, листочками шевелит...

А какой-то турист посмотрел на Лешу и говорит:

- Хорошая березка, надо ее срубить!..

И как замахнулся на Лешу топором!

А Леша подцепил его за шиворот, приподнял повыше, снял с него штаны и стал учить его УМУ-РАЗУМУ - одной своей тоненькой веточкой - бьет и приговаривает:

- Не руби березок - не руби елок - не руби дубков - не руби сосенок - не руби вишенки - не руби ясеней - не руби рябинок - не руби баобабов - ... -

Леша мно-о-о-о-о-ого деревьев знал!

Однажды Лешину маму очень обидели - на работе. Это ее начальник накричал на нее, что она, мол, невнимательная и плохо работает...

Но НА САМОМ ДЕЛЕ это начальник был плохой, а мама хорошая.

Пришла мама домой вся в слезах и пожаловалась своему един-

ственному сыну Леше на свою Судьбу. И тогда Леша решил проучить того плохого начальника.

Превратился он в НАЧАЛЬНИКА, который был НАЧАЛЬНИКОМ ТОГО НАЧАЛЬНИКА, плохого, и вызвал его к себе. Ух, как он его распекал! А потом устроил ему экзамен.

- Сколько будет семью семь? - спрашивает Леша.

А тот от страха все позабыл! - Не знаешь! - сказал Леша, - А как нужно себя вести, когда в кабинет заходит какая-нибудь подчиненная женщина? (Это Леша на маму намекал) - тот и этого не знает.

- Что люди моют перед едой? - спрашивает Леша.

- Фрукт! - отвечает НАЧАЛЬНИК.

- Сам ты фрукт! - сказал Леша. - Не нужны нам ТАКИЕ НАЧАЛЬНИКИ - иди отсюда!

И начальник ушел ОТТУДА по собственному желанию.

Так ему и надо - НЕ БУДЕТ МАМ ОБИЖАТЬ!!!

ж ж ж

Играл как-то Леша в футбол вместе с классом. Против другого класса - параллельного. В общем, класс на класс.

И Лешин класс проигрывал. Сначала один-ноль, потом два-ноль, а потом даже пять-ноль...

Расстроился Леша и превратился в Марадону - самого лучшего в мире футболиста.

И, конечно, стал забивать голы - один за другим - пять штук забил, а больше вот никак не получалось! Марадоне было неохота.

- Да ну их, - сказал он, - им неинтересно голы забивать, этим слабакам из параллельного класса. То ли дело сборной Англии или хотя бы сборной СССР!

В общем, получилась ничья: пять-пять. И ТО ХОРОШО!

ж ж ж

Однажды Леша пошел ловить рыбу. С ребятами.

У ребят хорошо клевало. Один поймал маленькую рыбку, другой одну маленькую и одну очень маленькую, а третий - две очень маленьких и одну совсем малюсенькую рыбку. А вот Леша ничего не поймал... И ребята стали над Лешей смеяться: мол, ты ловить не умеешь, и вообще, ты дурак!

Леша хотел сначала превратиться в НАСТОЯЩЕГО РЫБАКА и показать им всем, КАК НАДО ЛОВИТЬ - всех рыбок поймать!

А потом думает: НЕТ, ПУСКАЙ ЛУЧШЕ ЭТИ РЫБКИ ПЛАВАЮТ НА ЗДОРОВЬЕ - И Я С НИМИ! Превратился он в ВЕСЕЛОГО КИТА и как даст хвостом по воде! - всех ребят обрызгал!

Будут знать, как над Лешей смеяться!...

ж ж ж

Леша гулял поздно вечером. Слышит - девочка кричит, маленькая. Это хулиганы на нее напали...

Леша хотел уже превратиться в милиционера и засвистеть, а потом думает:

- Нет, это не интересно, лучше я превращусь в Тигра и зарычу. Это будет здорово! Хулиганы как увидят, как испугаются! Но девочка же тоже испугается - она такая маленькая - еще зайкой останется!

Нет, Леша не мог этого допустить. И тогда он решил поговорить с хулиганами по-хорошему. А хулиганы стали его бить...

- Ах, вы так, - подумал Леша и превратился в САМЫТВЕРДЫИ-ВМИРЕКАМЕНЬ! А хулиганы ничего не заметили - из-за своей злости - и БАЦ-БАЦ по нему со всей силы, а потом как заорут:

- Аи! Ой! Ой! УИУИУИ! - попадали и лежат, плачут...

А Леша ту девочку потом проводил - до самого дома. Правда, она не маленькая оказалась, а почти совсем взрослая девушка, но Леша все равно ее проводил - мало ли что!

ж ж ж

Однажды мама не попала на концерт очень хорошего итальянского певца Тото Кутуньо. Ей билетов не досталось. Пришла она домой и говорит Леше:

- Вот, не попала... так жалко, он больше к нам не приедет!

- И не надо, - сказал Леша и превратился в этого самого итальянского певца - в Тото Кутуньо. И спел две песни - самые лучшие. А потом говорит:

- Мам, а кого ты еще хочешь послушать из звезд мировой эстрады?

Мама говорит:

- Еще я хочу послушать Андриано Челентано, но ты этого, наверное, не сможешь...

- Это почему? - сказал Леша. - Челентано, так Челентано...

Потом Леша превратился в Эллу Фицджеральд, потом еще в Луи Армстронга, потом в Аллу Пугачеву, и закончил концерт Майкл Джексон.

Мама была счастлива в этот вечер. В самом конце, когда уже все звезды спели все свои песни, она обняла сына и говорит:

- А теперь спой мне что-нибудь сам.

И Леша, конечно, залел одну песню - они ее на уроке пения учили. А мама послушала и говорит:

- Да у тебя же слуха нет!

- Да? - говорит Леша. - Нет слуха? А по-моему, хорошо! - и дальше поет...

А мама ему:

- Нет, нет - не надо, а то ты мне все впечатление испортишь - ОТ ПРЕКРАСНОГО КОНЦЕРТА.

и к и

Однажды Леша превратился в воздушный шарик и полетел...

А его сбили! Из рогатки...

Осталась от Леша одна веревочка. И еще кусочек сдутого шарика. Но Леша снова превратился в целый шарик и снова полетел... А его опять сбили, а он опять превратился!

Так он до тех пор превращался, пока у них руки не устали, резинки не порвались и патроны не кончились.

- ДА НУ ЕГО, - сказали они, - ПУСТЬ ЛЕТИТ КУДА ХОЧЕТ - НЕНОРМАЛЬНЫЙ КАКОЙ-ТО!

Некоторые рассказы москвича Сергея Седова из цикла "Про Лешу..." появлялись в различных детских журналах. Но собранные вместе в порядке, предложенном автором, публикуются впервые.



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

Дамы и господа!

Пойдете ли вы по жизни дорогой риска или благоразумия, вы рано или поздно столкнетесь с тем, что по традиции принято называть Злом. Я говорю не о персонаже готических романов, а как минимум о реальной общественной силе, которая никоим образом вам не подвластна. И ни благие намерения, ни хитроумный расчет не избавляют от неизбежного столкновения. Более того, чем осторожнее и расчетливее вы будете, тем более вероятна встреча и тем болезненней будет шок. Жизнь так устроена, что то, что мы называем Злом, поистине повсюду, хотя бы потому, что прикрывается личиной добра. Оно никогда не входит в дом с приветственным возгласом: "Здорово, приятель! Я - Зло", что, конечно, говорит о его вторичности, но радости от этого мало - слишком уж часто мы в этой его вторичности убеждаемся.

Поэтому было бы весьма полезно подвергнуть как можно более тщательному анализу наши представления о добре, образно говоря, перебрать гардероб и посмотреть, что из одежды придется незнакомцу впору. Это займет немало времени, но время будет потрачено отнюдь не зря. Вы будете ошеломлены, узнав, сколь многое из того, что вы считали выстраданным добром, легко и без особой подгонки окажется удобным доспехом для врага. Возможно, вы даже усомнитесь, не есть ли он ваше зеркальное отражение, ибо всего удивительнее во Зле - его абсолютно человеческие черты. Так, например, нет ничего легче, чем вывернуть наизнанку понятия о социальной справедливости, гражданской добродетели, о светлом будущем и т.п. Вернейший признак опасности здесь - масса ваших единомышленников, не столько из-за того, что единодушие легко вырождается в единообразие, сколько по свойственной большому числу слагаемых вероятности оплошания благородных чувств.

Не менее очевидно, что самая надежная защита от Зла в бескомпромиссном обособлении личности, в оригинальности мышления, его парадоксальности и, если угодно, – эксцентричности. Иными словами, в том, что невозможно исказить и подделать. что будет бессилён надеть на себя, как маску, завязанный лицевой, в том, что принадлежит вам и только вам – как кожа: ее не разделить ни с другом, ни с братом. Зло сильно монолитно. Оно расцветает в атмосфере толпы и сплоченности, борьбы за идею, казарменной дисциплины и окончательных выводов. Тягу к подобным условиям легко объяснить его внутренней слабостью, но понимание этого не прибавит силы, если Зло победи

А Зло побеждает, побеждает во многих частях мира и в нас самих. Глядя на его размах и напор, видя – в особенности! – усталость тех, кто ему противостоит, Зло ныне должно рассматривать не как этическую категорию, а как явление природы, и исчислять его в пору не единичными наблюдениями, а делать кар по образцу географических. И я обращаюсь к вам с этой речью не потому, что вы полны сил, молоды и ваши души чисты. Нет, чистых душ нет среди вас, и вряд ли вы найдете в себе силу и стойкость для очищения. Моя цель проста. Я расскажу вам о способе сопротивления Злу, который, может быть, однажды вам пригодится; о способе, который поможет вам выйти из схватки если не с большим результатом, то с меньшими потерями, чем вашим предшественникам. Я, разумеется, буду говорить о знаменитом "подставь левую щеку".

Я исхожу из того, что вам известно, как толковали этот стих из Нагорной проповеди Лев Толстой, Махатма Ганди, Марти Лютер Кинг и многие другие. Следовательно, я исхожу из того, что вам знакома концепция пассивного непротивления и ее главный принцип, воздаяние добром за зло, т.е. отказ от мщения. При взгляде на мир сегодня, невольно приходит на ум, что этот принцип, мягко говоря, не получил повсеместного признания. Причин здесь две. Во-первых, он применим в условиях хоть минимальной демократии, а это как раз то, чего лишены восемьдесят шесть процентов людей Земли. Во-вторых, здравый смысл подсказывает пострадавшему, что, подставив другую щеку и не отомсти он добьется в лучшем случае моральной победы, то есть чего-то неощутимого. Естественное нежелание подставить себя под вто-

рой удар подкрепляется уверенностью, что это только разгорячит и усилит Зло и что моральную победу противник припишет себе.

Но есть другие, более серьезные поводы для сомнений. Если первый удар не вышиб дух из потерпевшего, он может задуматься над тем, что, подставив другую щеку, он растравляет совесть обидчика, не говоря уже о его бессмертной душе. Моральная победа может оказаться не такой уж моральной, потому что страдающий часто склонен к самолюбованию, и, кроме того, страдание возвышает обиженного, дает ему превосходство над врагом. А как бы ни был зол ваш недруг, он - человек, и, не умея возлюбить ближнего, как самого себя, мы все же знаем, что зло начинается там, где человек начинает полагать себя лучше других. (Не потому ли вы получили первую пощечину?). Так что, кто подставляет другую щеку, тот, самое большее, сводит на нет успех противника. "Смотри, - как бы говорит вторая щека, - ты мучаешь только плоть. Тебе не добраться до меня, не сокрушить мой дух". Правда, это и в самом деле может раззадорить обидчика.

Двадцать лет назад в одной из многочисленных тюрем на севере России произошла следующая сцена. В семь часов утра дверь камеры распахнулась, и вертухай обратился с порога к заключенным:

- Граждане! Коллектив ВОХР вызывает вас на социалистическое соревнование по рубке дров, сваленных у нас во дворе.

В тех краях нет центрального отопления, и органы УВД взимают своеобразный налог с лесозаготовителей в размере одной десятой продукции. В момент, о котором я говорю, двор тюрьмы выглядел точно как дровяной склад: груды бревен громоздились в два и три этажа над одноэтажным прямоугольником самой тюрьмы. Нарубить дрова было, конечно, необходимо, но таких социалистических соревнований раньше не было.

- А если я не буду соревноваться? - спросил один заключенный.

- Останешься без пайки, - ответил страж.

Раздали топоры, и дело пошло. Узники и охрана вкалывали от души, и к полудню все, в первую очередь изголодавшиеся зеки, выдохлись. Объявили перерыв, все сели перекусить, кроме заключенного, который спрашивал утром об обязательности участия. Он продолжал рубить. Все дружно над ним смеялись и острили в том духе,

что вот-де, говорят, будто евреи хитрые, а этот - смотри, ри... Вскоре работа возобновилась, но уже с меньшим пылом. тыре у охранников кончилась смена. Чуть позже остановились. Лишь топор одного по-прежнему мелькал в воздухе. Несколько ему говорили "хватит" и заключенные, и охрана, но он не обратил внимания. Он словно втянулся и не хотел сбивать ритм или уж мог.

Со стороны он выглядел роботом. Прошел еще час, два часа он все рубил. Охрана и заключенные смотрели на него пристальное, глумливое выражение на лицах сменилось изумлением, затем с хом. В половине восьмого он положил топор, шатаясь, добрался до камеры и заснул. В остаток срока, проведенного им в тюрьме, разу не организовывалось социалистическое соревнование между охраной и заключенными, сколько бы дров ни привозили в тюрьму.

Наверное, тот парень выдержал это - двенадцать часов работы без перерыва - потому, что был молод. Ему было двадцать четыре года, чуть больше, чем вам сейчас. Но думаю, что в основе его поведения лежало нечто иное. Не исключено, что он, как и я, потому, что был молод, помнил Нагорную проповедь лучше, чем Толстой и Ганди. Ибо зная, что Сын Человеческий обычно изъяснялся трехстишиями, юноша мог припомнить, что соответствующее речение не кончается на

"Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую" и продолжается через точку с запятой:

"И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;

И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два".

В таком виде строки Евангелия мало имеют отношения к непротивлению злу насильем, отказу от мести и воздаянию добром за зло. Смысл этих строк никак не в призыве к пассивности, а в доведении зла до абсурда. Они говорят, что зло можно унижить путем сведения на нет его притязаний вашей уступчивостью, ксрая обесценивает причиняемый ущерб. Такой образ действия ставит жертву в активнейшую позицию - позицию духовного наступления. Победа, если она достигнута, не только моральная, но и вполне реальная. Другая щека вызывает не к совести обидчика, с которой он легко справится, но ставит его перед бессмысленностью все

затеи – к чему ведет всякое перепроизводство.

Напоминаю вам, что речь не идет о честной схватке. Мы об-суждаем ситуацию, когда изначально силы противников не равны, когда нет возможности ответить ударом на удар и обстоятельст-ва все против тебя. Другими словами, мы говорим о черной мину-те жизни, когда моральное превосходство над врагом не утешает, а враг слишком нагл, чтобы будить в нем стыд или крупицы чести, когда в вашем распоряжении – собственное ваше лицо, одежда да две ноги, готовые прошагать, сколько надо.

Здесь уже не до тактических ухищрений. Подставленная вто-рая щека – это выражение сознательной, холодной, твердой реши-мости, и шансы на победу, сколь бы малы они ни были, прямо за-висят от того, все ли вы взвесили. Поворачиваясь щекой к врагу, вы должны знать, что это только начало испытаний, как и цитаты, и собраться с духом для прохождения всего пути – всех трех сти-хов из Нагорной проповеди. В противном случае вырванная из кон-текста строка приведет вас лишь к увечью.

Строить этику на оборванной цитате значит либо наклепать беду на свою голову, либо обратиться в умственного буржуа, размякшего в уюте убеждений. В любом из этих двух случаев (из них второй, в компании всех благородных поначалу и обанкротив-шихся потом движений, по крайней мере, не лишен приятности) вы отступаете перед Злом, отказываясь обнажить свою слабость. Ибо, позвольте опять напомнить, Злу присущ абсолютно челове-ческие черты.

Этика, построенная на оборванной цитате, изменила в Индии после Ганди разве что цвет кожи правителей. А голодному безраз-лично, из-за кого он голоден. Пожалуй, он предпочтет обвинить в своем горестном положении белого, а не собрата, потому что социальное зло тогда приходит откуда-то извне и, может быть, окажется менее гнетущим. Когда враг – чужой, то остается почва для надежд и иллюзий.

Так же и в России, этика, основанная Толстым на оборван-ной цитате, в большой степени подорвала решимость народа в борь-бе с полицейским государством. Что впоследствии, известно: за шесть десятилетий подставленная щека и все лицо народа обра-тились в один огромный синяк, и государство, уставшее от бес-чинств, в конце концов стало попросту плевать в него. Как и в

лицо всему миру. Так что, если бы захотите применить христианское учение на практике и на языке современности истолковать слова Христа, вам не обойтись тарабарским жаргоном современной политики. Вам надлежит усвоить первоисточник умом, если не сердцем. В Нем было значительно меньше от доброго человека, чем от Духа Святого, и опираться на Его доброту в ущерб Его философии смертельно опасно.

Признаюсь, мне отчасти неловко толковать об этих материях, потому что подставить или не подставлять другую щеку, в конечном счете, каждый решает сам. Борьба идет без свидетелей. Ее орудием служат твоё лицо, твоё одеяние, твоими ногам предстоит шагнуть. Советовать, тем более указывать, как распорядиться этим достоянием, не то чтоб недопустимо, но безнравственно. Все, к чему я стремлюсь, это освободить вас от словесного штампа, который подвел столь многих и принес так мало пользы. И еще я бы хотел заронить в вас мысль, что пока у вас есть лицо, рубашка, верхняя одежда и ноги, не безнадёжен и беспросветный мрак.

И, наконец, важнейшая причина, ставящая того, кто говорит вслух об этом, в неловкое положение, — это не одно только по-человечески понятное нежелание слушателя смотреть на себя, юного и отважного, как на потенциальную жертву, нет, это просто трезвый взгляд на людей и понимание, что и среди вас, в этой аудитории, есть потенциальные палачи, а раскрывать военную тайну перед врагом — плохая стратегия. Снимает же с меня обвинение в невольном предательстве или, еще хуже, в механическом переносе сиюминутного статус кво в будущее надежда, что жертва будет всегда хитрее, сообразительнее и предприимчивее палача. И это даст ей надежду на выигрыш.

Уильямс-колледж, 1984

Перевод с английского
А.З.Колотова, 1988 г.



СТИХИ О ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1980-го ГОДА

"В полдневный зной в
долине Дагестана"
М.Ю.Лермонтов

I

Скорость пули при низкой температуре
сильно зависит от свойств мишени,
от стремления согреться в мускулатуре
торса, в сложных переплетеньях шеи.
Камни лежат, как второе войско.
Тень вжимается в суглинок поневоле.
Небо – как осыпающаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраса
поднимается взрыв. Брызгающая воронкой,
как сбежавшая пенка, кровь, не успев питаться
в грунт, покрывается твердой пленкой.

II

Север, пастух и сеятель, гонит стадо
к морю, на Юг, распространяя холод.
Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана.
Механический слон, задирая хобот
в ужасе перед черной мышью
мины в снегу, изрыгает к горлу
подступивший комок, одержимый мыслью,
как Магомет сдвинуть с места гору.
Снег лежит на вершинах; небесная кладовая
отпускает им в полдень сухой избыток.
Горы не двигаются, передавая
свою неподвижность телам убитых.

III

Заунывное пение славянина
 вечером в Азии. Мерзнушая, сырая
 человеческая свинина
 лежит на полу караван-сарая.
 Тлеет кизяк, ноги околели;
 пахнет тряпьем, позабытой баней.
 Сны одинаковы, как шинели.
 Больше патронов, нежели воспоминаний,
 и во рту от многих "ура" осадок.
 Слава тем, кто, не поднимая взора,
 шли в абортарий в шестидесятых,
 спасая отечество от позора!

IV

В чем содержанье жужжамья грустия?
 В чем - летательного аппарата?
 Жить становится так же трудно,
 как строить домик из винограда
 или - карточные ансамбли.
 Все неустойчиво (раз - и сдуло):
 семьи, частные мысли, сакли.
 Над развалинами аула
 ночь. Ходя под себя мазутом,
 стынет железо. Луна от страха
 потонуть в сапоге разутом
 прячется в тучи, точно в чалму Аллаха.

V

Праздний, никем не вдыхаемый больше воздух.
 Вывезенная, сваленная как попало
 тишина, Растущая, как опара,
 пустота. Существоуй на звездах
 жизнь, раздались бы аплодисменты,
 к рампе выбежал бы артиллерист, мигал.
 Убийство - наивная форма смерти,
 тавтология, ария попугая,
 дело рук, как правило, цепкой бровью
 муху жизни ловящей в своих прицелах
 молодежи, знакомой с кровью
 понаслышке или по ломке целок.

У I

Натяни одеяло, вырой в трухе матраса
ямку, заляг и слушай "уу" сирены.
Новое оледененье - оледененье рабства
наползает на глобус. Его морены
подминают державы, воспоминанья, блузки.
Бормоча, выкатывая орбиты,
мы превращаемся в будущие моллюски,
бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты.
Дует из коридора, скважин, квадратных окон.
Поверни выключатель, свернись в калачик.
Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.
Утром уже не встать с карачек.

У II

В стратосфере, всеми забыта, сучка
лает, глядя в иллюминатор.
"Шарик! Шарик! Прием. Я - Жучка".
Шарик внизу, и на нем экватор.
Как ошейник. Склоны, поля, овраги
повторяют своей белизною скулы.
Краска стыда вся ушла на флаги.
И в занесенной подклети куры
тоже, вздрагивая от побудки,
кладут непорочного цвета яйца.
Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца.



Значные
4
со

Зинаида Миркина

〈ПОСЛЕ ГРОССМАНА〉

Жил на свете человек. В России, в XX-ом веке. И он верил в Бога.

Но он увидел такую жестокость, такую меру горя, что потерял веру. Не мог бы допустить его Бог, чтобы миллионы людей умирали с голоду или были задушены в газовых камерах.

Человеческая жестокость убила идею Бога. И родилась другая идея, что Бога нет. Человек был в отчаянии. И вдруг рядом с самой страшной жестокостью увидел он такую огромную, такую бескорыстную и бессмысленную доброту, перед которой рухнула идея, что Бога нет.

И остался человек безо всякой идеи, безо всякого знания о Боге, положительного или отрицательного, — но и без отчаяния, без бессмыслицы.

Один, совершенно незащищенный, не имеющий никакой опоры вовне, в этом страшном мире — со своей живой, не убитой ничем добротой, которая наполнила его и теплом, и смыслом. Да ведь если бы даже нигде, ни в ком не встретил он этой доброты, все равно, в нем-то она была!... Мир мог с ним сделать все, что угодно — замучить, убить. Но эту доброту, эту жалость ко всем и боль за всех убить нельзя. Это его суть. И измениться она не может.

Вот и остался он с этой сутью, ничем не прикрытой, не одетой ни в какие идеи — безыдейной Сутью. Насущностью. Сущим.

Но ведь Сущий — это имя Бога. Яхве — Сущий. И только.

Одна из самых непонятных заповедей блаженства — это заповедь о духовной нищете.

Кто такие нищие духом?

Это те, кто не имеют никакой идеи Бога. Ничего не имеют, кроме Бога.

— Как это?

— Никак. Вот так.

Какая разница между Богом и идеей Бога? Огромная. Идеей можно овладеть, как овладевают марксистско-ленинским учением или учением католической церкви, или православной. Богом овладеть нельзя. Можно только дать Богу овладеть нами. То, чем мы можем овладеть, что можем вместить в свой ум, СОИЗМЕРИМО с нами, ПОСТИЖИМО. Бог несоизмерим с нами и непостижим. Он непредставим и не равен никакой идее Бога. Он бесконечно больше всякой идеи Бога. Идея — лишь одежда Бога. То, за что человек может ухватиться душой.

И если человек боится потерять свои собственные одежды, свой дом, свою землю, то свои идеи он боится потерять еще больше. Гораздо больше. Самые лучшие, "идейные" люди легко отдадут жизнь за идею. А если умрет их идея, им и жизнь не нужна будет.

Если умрет идея...

Все, что смертно, должно умереть. Смертная идея рано или поздно умирает. И если человек не умрет вместе с ней, не умрет духовно, он остается нищим, — ничем не владеющим. И вдруг увидит, что есть нечто, чего отнять нельзя. Ибо это слито с ним самим, это его глубочайшая суть. Бессмертная суть. Сущее. И это Сущее не состоит из частей и не подвержено разрушению.

Сердце, напугавшее в себе зерно своей сущности, просто и цельно. И из этой своей цельности, как с цельного единого неба, смотрит оно на мир и видит его раздробленным и раздираемым на тысячи кусков. Идея борется с идеей. Раздробившаяся идея дробится на новые куски. И еще и еще. И все находится в непрерывной борьбе, всё пожирает друг друга и снова дробится. Идей — легион. Каждый воет во имя Добра, как он его понимает. То есть во имя идеи Добра.

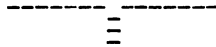
А может быть, миф о запретном плоде с Древа Познания не так уж прост? Может быть, и вправду не может человек раскусить этот плод? Не по зубам он ему...

Так или иначе, в одном сердце идея Добра рухнула и заменилась безыдейной добротой. И на этой-то безыдейной, беззащитной, беспомощной доброте думает человек удержать мир? Безумие...

Но ведь "нищий духом" неуязвим. Он ни на что внешнее не опирается. Только на свою собственную суть, которая внутри. Его нельзя разочаровать, нельзя отнять веру, смысл. Ибо все это не-

отделимо от него самого. Смысл его жизни и его душа — одно и то же. И если он верен себе, он среди самых страшных бед может почувствовать такую беспричинную, ни с чем не сравнимую радость, какой не испытывал в дни самого большого торжества.

Судьба может быть страшной, но душа живет — и тогда все прекрасно. А если прекрасна судьба, но душа задавлена, тогда задавлена жизнь. Тогда смеется Смерть...



Когда торжествует душа, тогда каким-то непостижимым образом оживают мертвые. Дорогие мертвые. И разлука кончается. И человек прикасается к тайне воскресения и вечной жизни. В часы или минуты, когда душа очень глубоко живет.

Один ученый, неверующий, более того, верующий в то, что Бога нет, — перед выбором: покривить душой, изменить себе — и получить все жизненные блага, или остаться самим собой и очутиться на краю гибели. Он выбирает второе и оказывается так счастлив, как никогда, и чувствует, что с ним рядом, здесь, его замученная погибшая мать. Страшная рана впервые затягивается.

Все обыкновенно. Но большего чуда не бывает. И когда потом судьба дарит нечто необыкновенное: сам земной бог вмешивается, звонит ему по телефону, и все, кто травил ученого, посрамлены, — в этот час величайшего торжества в своей судьбе он чувствует себя много менее счастливым, чем тогда, в глубоком несчастье. Самый тяжелый час судьбы оказался его звездным часом. Поражение было победой, победа стала началом поражения.

Может быть, самое важное не то, что дает нам судьба, а то, как мы это встречаем и выносим. Как выносит свою судьбу душа и что совершается в ней.

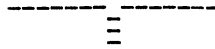
Мы устали беспредельно и, может быть, готовы, как Иов, проклясть ночь, в которую зачаты, и день, в который родились. И все идеи бессильны и беспомощны перед лицом страдания. Перед беспредельностью страдания.

Что же сказать Иову?

Ничего. Можно только молча БЫТЬ рядом со страданием. Быть с ним. В нем.

Все идеи друзей Иова были пустословием. Никакие идеи о Бо-

ге не могли оправдать Бога. Не могли ничего дать Иову. Пока не явился Сам Бог. Мы или видим Его душой, или нет.



Личный Бог... Что это? Бог как личность? Бог, имеющий лицо? Для меня это прежде всего Бог, предстающий перед моим лицом, лично постигаемый... То, что постигается только через мою личность, в глубине **собственного** моего "Я".

Надо отважиться на уединение, пройти через духовную пустыню, чтобы стать личностью и "лично" увидеть.

Не с чужого голоса, не с чужого слова, не в толпе, не в массе – лицом к Лицу. Да, прежде всего должна родиться моя собственная СПОСОБНОСТЬ ВИДЕТЬ. Открывание глаз. Мое поле зрения. Мой потолок, – МОЙ Бог.

Чтобы увидеть моего Бога, я отделяюсь от навязанных мне представлений, от заученных понятий. У меня появляется свое собственное представление.

Весь русский серебряный век все его мыслители искали Бога, пытались понять и осмыслить данные векового "коллективного опыта", подойти со своего угла, найти СВОЙ Лик, своего Бога.

Все они христиане, все признавали Высшим Образом Христа, но **ведь** Христос Вл.Соловьева и Христос Бердяева – уже не одно. А Шестов и Розанов, а Толстой и Достоевский!...

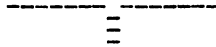
Единый Лик раздробился на множество лиц. Но как понять, какое лицо истинно? Где же Единый Бог?

– В единстве. Бог есть то, в чем (ком) все и вся сливаются в Одно. Бог есть то, что связывает всех и вся.

Моим может быть путь, дверь, тропа – подход к Богу, Но там, где Бог, нет моего и твоего. Ты можешь прорыть свой ход в открытое пространство Бога, обнимающее, проникающее всех и вся. Пространство – не ТВОЕ. Небо не делится. Оно обнимает всех.

Можно объединиться с группами, идущими по одной дороге; можно идти вместе. Можно идти порознь. Но как все реки впадают в море, все ИСТИННЫЕ пути ведут в Единое. Неделимое. Оно же Вечное и Сущее. Оно не определяется твоими представлениями, не измеряется твоими понятиями. Оно определяет и измеряет тебя, а не ты Его.

Если ты еще отделяешь и разрезаешь, если жизнь ты хранишь для одних и отнимаешь у других, не надейся, что ты нашел Бога. Ты нашел **свое** представление, свою идею Бога, которая может быть началом пути, точкой отсчета, — но не дай Бог на ней остановиться! Остановка — путь вспять, в смерть, а не в жизнь. Это начало безумия.



Если заповедь о духовной нищете — самая трудная для понимания, то самая трудная для исполнения — заповедь о любви к врагам. Большинство людей она ощущается как что-то неестественное и непужное, или уж слишком высокое и недостижимое.

Но вот в книге, о которой идет речь, — в этой книге любовь и сострадание к врагам живет как-то само собой, безо всякой идеи о необходимости этого, безо всякого императива. Это есть — и все.

В книге почти не цитируется Евангелие, не говорится, как НАДО поступать. Она вовсе не претендует на учительство. Она просто показывает: вот простая крестьянская баба, без всяких идей. В ее избе расположились немцы-каратели и ведут себя так, точно она кошка, а не человек. У нее только что увели мужа, может быть, на расстрел... Нет, она не может любить этих нелюдей. Она задавлена, задущена ими, она хочет только одного — чтобы они исчезли, сгинули. Но вдруг один из них случайно простреливает себе живот и корчится в агонии. И тут, наконец, замечает ее и просит воды. И она приносит ему воды, и приподнимает его, и дает ему обхватить свою шею руками, хотя придушить его ничего не стоит — и ведь надо бы, надо бы... Но что поделаешь с дурацкой душой, для которой всякая боль — своя боль?

Эта баба — одна из тех, которые убили в Иконникове идею, что Бога нет. Бессмысленная, дурацкая, сверххраудная доброта... чувство, что всякая боль — твоя боль... Так это есть на земле? — Есть. Рядом с другим чувством, подпольного человека Достоевского: "Миру провалиться, а мне чай всегда пить".

В книге есть свои полюсы добра и зла. Но основная масса живет не на полюсах, а в средней полосе. И в каждой душе происходит движение к одному или к другому полюсу.

Только хорошие или только плохие? Их невероятно мало. Может быть, совершенные праведники – разве лишь Иконников и Марья Ивановна Соколова. А абсолютные злодеи... Но, впрочем, не так уж обязательно называть их. Разумеется, они есть, но самое страшное – это не они, а массовое движение душ к полюсу зла. Как прервать это движение? Отделить, отрубить зло? Уже много раз пробовали. И мир, в котором мы живем, – результат этих проб. Что же делать?

В одной восточной притче говорится, что зло – это многоголовая гидра. И если отрубить ей головы, то из крови, пролитой на землю, вырастет десять других. Выход только один – заморить гидру голодом. Не кормить зло собственной душой, в собственной душе.

Таков же молчаливый, не сказанный, но показанный ответ этой книги. Без окончательных выводов, без слов даже, самим мироощущением, самими судьбами и характерами героев, отношением к ним.

Кто такая Людмила Николаевна Шапошникова-Штрум? Да никто. Женщина как женщина. Нет, не хорошая. Отнюдь. И автору, и нам ближе и симпатичнее ее сестра Женя, не говоря уже о ее подруге Марии Ивановне. Эти-то тонки иногда до прозрачности и добры до жертвенности. А она и не тонка, и не добра, а пожалуй что и черства, и груба.

Но вот одну из самых сильных трагических глав книги автор посвящает ей, матери, едущей к своему погибающему сыну и нашедшей только могилу, на которой она проводит день... целую вечность... Не сочувствовать ей, не разделять ее горе немислимо. Сочувствуешь до стога, до невозможности дышать, жить.

Да, душа, когда она пробуждается (а это чаще всего бывает тогда, когда она болит, истинно болит) оказывается каким-то непостижимым образом одна на всех.

Любить врагов – юродство, безумие? Ну что ж. Не любите и! Никто не просит (и тем более не заставляет). Но сумеете ли вы сами остаться живы, ненавидя и убивая? Не убьете ли вы, не уничтожите ли себя?... Да, именно себя. Каким-то непостижимым образом мы все сплетены, сопряжены, и душа, Дух – одна на всех, один на всех, как небо.

Попробуйте уничтожить небо над головой соседа. Попробуйте отравить воздух, которым он дышит, и не отравиться самим... Бро-

свить атомную бомбу и пить свой чай... Попробуйте...



Религиозная идея, давно похороненная русской революцией, оказывается, не умерла - или выросла на развалинах храмов, на обломках старой культуры. Снова зачитываются мыслителями серебряного века, снова русская интеллигенция открывает Христа и видит, что не так-то легко найти идеал повыше...

Только одно остается как-то совершенно незамеченным, точно этого и не существует, - разница между Богом и идеей Бога.

Людям кажется, что можно повернуться к Богу, попросту переменяв идейную ориентацию, принадлежность к той или иной партии. А такие "беспартийные" чувства, как благоговейный страх, - страх обидеть, ранить кого-то, или благоговейный трепет перед Тайной, единящей нас всех и никем не понятой до конца, - такие чувства как были, так и остались где-то на периферии внимания. В центре другое: мы или они?

И если раньше все подтверждалось цитатами из Маркса или Ленина, то теперь все на свете можно подтвердить цитатами из Евангелия. Мы овладели идеей. Мы вооружены... Сказано в Евангелии - "не мир, но меч". Вот и давайте поделимся.

Да, в Евангелии есть эти слова. Но есть и другие: "Взявший меч от меча и погибнет". И "блаженны миротворцы". И, как сказал один святой: "написанное Святым Духом можно прочесть только Святым Духом".

Что же делать? Собрать Дух Святой? "Цель жизни христианина - стяжание Духа Святого", - сказал Серафим Саровский. Что это такое? Собрание, накапливание в сердце благоговейной тишины, внимание, освобождение внутреннего пространства, через которое может пройти Бог живой, Бог, бесконечно больший, чем мы, Бог, а не наши представления, не идея Бога, которая по мерке нам, которая меньше нас.

Люди по-прежнему строят свою Вавилонскую башню и полны надежды добраться до самого Бога, а подчас и уверены, что уже добрались, что истина у них в кармане. У них монополия на истину, на Бога. Он "наш". Нет Бога, кроме нашего Бога, и тот-то и тот-то - пророк его.

Снова Мы и ОНИ: наш Бог – их Бог. Так чей же все-таки Бог? Наш или их?

В древней притче царь Соломон решил спор двух матерей: кому принадлежит ребенок? Он предложил, как известно, разрубить ребенка пополам. Одна согласилась, а другая предпочла отдать ребенка, только бы, только бы он остался цел. Мудрый судья понял, которая мать была настоящей.

Такой настоящей матерью истины представляется мне книга Гроссмана. Она добивается только одного: чтобы Истина, чтобы Добро, чтобы Душа человека и человечества оставались ЦЕЛЫМИ. Читая ее, понимаешь, что убивая нельзя исцелять. Вот и все. И только-то?

Религия – связь. Религия – соединяет. Разделение – дело идеологии. (И, может быть, иногда святое дело, когда оно – хирургия, а не убийство, когда она режет без ненависти). Осуждая, ненавидя (не что, а кого; не грех, а грешника), не понимая, что мы суть Одно, нельзя подходить к решению религиозных задач.

А Василий Гроссман подходит к решению религиозных задач? Пытается их решать?

Не думаю. Мне кажется, что и он об этом никогда не думал. Он только понимал, без чего к ним нельзя и близко подходить. И это великое понимание. Нет, в этой книге не ведется разговор о Боге. Здесь ведется разговор о человеке. Развенчиваются, разрушаются его выдуманные, безумные идеалы и расчищаются даль, сквозь которую виден идеал истинный – Сущий. Расчищаются пути Господу.

Да, эта книга – только Предтеча. Но истинный Предтеча – глас вопиющего в пустыне: "Очистите пути Господу!"

И только. Только?!

Более сильного, а, главное, более нужного голоса в послевоенной России я не слышала.



ЗЕРКАЛО "ЗЕРКАЛА"

Нужно ли в статье "про кино" пересказывать – "описывать" фильм? В отличие от театрального спектакля, который может и должен быть уникальным в каждом своем представлении, фильм, "запечатленный" – "зафиксированный" на пленку, неизменен, как книга, и во времени он не умирает, но меняются только "впечатления" от него; так не лучше ли пытаться "запечатлевать" текстом статьи именно эти впечатления, имеющие свойство театрального спектакля – от просмотра к просмотру меняться и умирать?

Два мнения режиссера Андрея Тарковского о собственном фильме "Зеркало":

1. "...я спросил о жизненных реалиях, положенных в основу фильма. Тарковский остановился, как слепой, наткнувшийся на стену. "Какие реалии? – воскликнул он в недоумении. – В искусстве есть только реалии духовного бытия самого художника"[⌘].

2. "Вы спрашиваете про "Зеркало": что это – создание своего собственного мира или правда? Конечно, правда, но в преломлении моей памяти. Ну, скажем, дом нашего детства, который вы видите в фильме, был выстроен точно на том же месте, где он стоял раньше, много лет тому назад. ... И по фотографиям мы реконструировали его таким, каким он был."[⌘]

"Реабилитация физической реальности" – такой позаголовок имеет книга одного из известнейших теоретиков кино Зигфрида Кракуэра "Природа фильма".

"Материализация духовной реальности памяти" – так можно попробовать обозначить метод отражения действительности фильмом А.Тарковского "Зеркало".

Один раз мне попалась видеозапись какого-то выступления Андрея Тарковского. Как это часто бывает с видеозаписями, она была без конца и начала, поэтому я мог только догадываться, что

Публикуется в сокращении.

⌘ Московское кинообозрение. Изд.15-го МКФ. 1987. Июль. С.4.

⌘ Искусство кино. 1989. № 2. С.110.

сделана она была, скорее всего, в Италии где-то около съемок "Ностальгии".

Тарковский стоял за небольшой кафедрой и говорил "про кино" да и не только "про кино", а как-то про "все сразу", опираясь на материал кино. Выступление строилось таким образом: Тарковский говорил несколько предельно насыщенных смыслом фраз, неожиданно останавливался, замолкал, потом снова высказывал несколько мыслей и опять замолкал, словно к чему-то прислушиваясь. И эти паузы поразили меня больше всего, ибо они — н а г л я д н о е выражение процесса ответственного мышления, обычно короткого и оттого незаметного для наблюдателя. Я поделился своим восторгом с кем-то, смотревшим эту видеозапись, но мне объяснили, что эти паузы Тарковский, скорее всего, делает для того, чтобы переводчик успевал пересказать аудитории его русскоязычную лекцию, а мы, зрители видеозаписи, просто не слышим этого перевода.

Если взять магнитофон или видеокамеру и долго (больше 10-20 минут) записывать размышления человека на какую-нибудь тему, не перебивая его вопросами, а потом прослушать запись, то в большинстве случаев обнаружится, что логичный и стройный "на слух" рассказ при расшифровке оказывается довольно-таки алогичным и непоследовательным, а главное — дискретным, т.е. обрывкообразным, разорванным, ломаным и т.д. И из этого, даже не раскрывая специальной литературы (подтверждающей, кстати, эту мысль), можно сделать вывод, что обычное, нормальное человеческое мышление как раз и является таким разорванным и скачкообразным, одновременно многоуровневым и сложным. И попытками отразить это мышление как раз и занимается "современное" (модернистское — в переводе на иностранный) искусство уже почти целый век. А одна из самых ярких попыток отобразить это — фильм А.Тарковского "Зеркало".

И в такой коллажно-монтажной "свободной" полистилистике я строю свою статью, пытаюсь отразить "Зеркало" в словесных высказываниях про, вокруг, около и собственно фильма, и данного фильма как явления во всей мировой культуре. Итак: коллаж цитат и высказываний, использование собственной статьи трехлетней давности "Зеркало "Зеркала", а также других фрагментов и наблюдений в попытке создать некое многоуровневое и разнонаправленное смысловое поле на тему "Зеркала" Андрея Арсеньевича Тарковского.

Еще немного рефлексии на тему "критик-статья-произведение-..." "Художник - тот, кто создает прекрасное... Критик - это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного. Высшая, как и низшая форма критики - один из видов автобиографии". - Из предисловия Оскара Уайльда к роману "Портрет Дориана Грея".

В новеллах, сделанных в манере психологического игрового кино, режиссеру удается добиться ступенчатого воссоздания исторической атмосферы через правду характеров и взаимоотношений персонажей. Так в истории с мнимой опечаткой автор совместно с актрисой М.Тереховой создают образ до предела испуганного человека в эпоху репрессий, когда мельчайшая ошибка могла стоить человеку жизни. Вот мать бежит по улице, идет дождь, но она не обращает на него внимания - главное успеть, скорее попытаться исправить опечатку. Она вбегает в свой отдел, и волна страха за слишком возможные в те времена последствия мгновенно захлестывает других. И если она и ее подруга (А.Демидова) еще как-то держат себя в руках, у молоденькой новой сотрудницы почти мгновенно начинается истерика, переходящая в поток безудержных слез. Едва мелькает при панораме камеры по щеху портрет Сталина, но даже и без него мы сразу же узнаем время по атмосфере, оставившей шрамы на нашей исторической памяти.

Но вот выясняется, что опечатка только пригрезилась героине - вроде бы конфликт эпизода разрешился - но режиссер следит за персонажами дальше - и страх, преодоленный в конкретно-поверхностном проявлении, продолжает действовать на глубине, исподволь разведая души, - и вот уже ломается какой-то внутренний барьер, и подруга "вываливает" матери все, что о ней думает... И рвется нить взаимопонимания, близко связывавшая этих двух немолодых усталых женщин.

Так исторические условия не впрямую, но неизбежно корректируют внутренний мир людей.

Мать бежит в душевую; раздевшись, встает под поток; вода неожиданно кончается, и верчение краников ничего не дает; и этот роковой факт внезапно приводит героиню к катарсису, освобождению от давившего, и, внутренне очищенная, она улыбается, камера отъезжает, и мы видим ее прекрасное в своей естественности тело, нагое и непорочное.

А вот камера как бы из леса, окружающего жилище, подъезжает к дому, и в окне мы видим мать, и спокойно отчетливый голос поэта читает так неслучайно прекрасное стихотворение, а камера въезжает в дом и внимательно осматривает комнату, и взгляд уже из окна замечает убегающего к лесу ребенка, а стихотворение все длится, и в его конце камера останавливается на лице женщины, которое автор потом будет сравнивать с классическими портретами европейских мастеров.

А вот мать – теперь уже старуха (ее играет мать Андрея Тарковского) – ведет бритоголовый мальчика и девочку вдоль леса, по дороге, а потом через широкое поле... и через монтажный стык, из другого, цветного, кадра (предыдущий был черно-белый) смотрит на них м о л о д а я мать, и молодой отец спрашивает ее, кого она хочет: мальчика или девочку? И мать ведет детей уже через жизнь – реальность киноизображения, с каждым кадром наполняясь эмоционально высветленным смыслом, перерастает в метафору, метафора раскрывается, преобразая "фрагмент из жизни" в космически цельную модель бытия.

Среди ночи мальчик внезапно просыпается, поднимается, садится в кроватке и видит мать: ее лицо закрыто тяжелыми намоченными в тазу волосами, она медленно разводит их, поднимает голову... рядом стоит отец... и вот мать уже вылетает и повисает в воздухе, и медленно пролетает над ней голубь...это же любовь, а в любви летают... а с потолка слоистыми пластами медленно падает вода, и в зеркале мать видит себя, но уже в старости – спираль обретает все новые и новые витки, открывая зрителю глубины его собственного сознания, существующего образами, так похожими на язык киносна "Зеркала".

Поражает и активнейшее использование автором самых простых окружающих нас вещей. На лугу рядом с лесом стоит стол. На столе хлеб, нож, кувшин. Дует ветер. Гнутя деревья, пригибается долу трава. Кувшин падает, катится по столу, и наконец скатывается на землю. Режиссер, подчеркивая происходящее черно-белой фактурой изображения (соответствующей, как мы видим, "поэтическим" кадрам фильма) и замедленным воспроизведением, превращает этот простейший "момент" бытия в откровение, где мы воочию на-

близдаем д ы х а н и е о ж и в ш е й под внимательным взглядом
камеры п р и р о д ы.

"Чувство кино" присутствует в каждом кадре фильма. Даже показывая во весь экран репродукции картин Леонардо да Винчи, Тарковский как бы отстраняет их, одновременно давая некое личное к ним отношение: то в кадре видна рука, листаящая страницы, то мнется папиросная бумага между листами, то появляются мерцающие пятна, полученные при особой, направленной, обработке киноплёнки.

Также не "в лоб", незавершено, намеком, Тарковский даже не цитирует живопись – например, "Охотников на снегу" Брейгеля в кадре с мальчиком и птицей – а, скорее, воспроизводит некое духовное излучение, оставшееся в нас после созерцания этих картин, и теперь ассоциативно вызванное автором, создает дополнительную эмоциональную глубину данного кадра фильма.

Наше мышление спиралеобразно, и даже медитация – свободно-сосредоточенное "думание" на одну тему – не может развиваться по прямой, а идет по некой синусоиде выпрямленными витками, через некоторое время возвращаясь уже на другом уровне осмысления к одним и тем же узловым точкам. Так и в самом фильме, и в воспоминании о фильме всплывают одни и те же образы, вызывая разные мысли и настроения. И так и должно быть, ведь неисчерпаемость (сам Тарковский приводит в пример японские хокку и полотна Леонардо да Винчи) – есть главное свойство истинно художественного образа. Волны ветра по полю травы – кажется, сама материя жизни колыхнется – ибо она также живая – как бьется кожа, прикрывающая мозг без кожи на голове у военрука, прикрывающего своим телом гранату, – как капает молоко и исчезает след от горячей чашки – через предельное внимание к фактуре каждого предмета (часто сверхкрупный план) – лес, молоко, земля, вода, огонь (первоосновы жизни) и, наконец, – ЧЕЛОВЕК – подчеркивается и выявляется как бы заново увиденная настоящесть мира.

И фильм на самом деле прост с той стороны, что отражает некую модель человеческой памяти, превращаясь в её образ, – а точнее, даже не памяти вообще, а мучительных и, наоборот, залитых ощущением счастья, возвращающихся воспоминаний – того самого нравственного опыта, который и делает человека человеком;

памяти фрагментарной, часто логически необъяснимо странной, но при глубинном осмыслении открывающейся удивительно закономерной, ибо она оставляет нам из всего времени прожитой жизни те самые моменты, ради которых и жил-то, кажется, на свете, и, наоборот, то, что мучительно хочется, но никак не забыть – что составляет сущность с т ы д а, и, преобразуясь в совесть, не дает повторять те, "нехорошие" поступки. Мы "испытываем чувство вины по отношению к нашим матерям", – говорил Андрей Тарковский во время съемок "Зеркала"[✕]. Вина за мать, за жену, за сына, за испанцев, за войну, за культ личности, за атомную угрозу... Так Махатма Ганди голодает и чуть не умирает оттого, что люди разных исповеданий, которые с его помощью освободились от англичан, теперь убивают друг друга... так Иисус Христос умирает на кресте, искупая своей смертью грехи всего человечества... так и герой фильма "Зеркало" умирает от всехних грехов... Ибо "Истинный путь к спасению – принесение жертвы (и катарсис – принятие жертвы)... В "Зеркале" мотив жертвы раздроблен в спиральной композиции фильма и воплощен в огне – костры, пожары, огонь в печи и на лучине пунктиром прошивает все действие, каждый раз знаменуя переход героев в новое нравственное состояние".^{✕✕} Человек и его совесть – вина, понимаемая в самом широком смысле: и как ответственность за близких и за всю историю человечества – вот главный лирический конфликт фильма "Зеркало". Так новелла с воспрником и Асафьевым – сопереживание чужой боли – история воспитания души героя фильма. И герой фильма, вырастая, сопереживает миру и обретает общее знание этого мира – СО(совместную)ВЕСТЬ(знание). Так субъективная камера памяти режиссера – героя фильма – зрителя все время наблюдает и оценивает или переоценивает события нашей совместной жизни в момент болезни героя – приближения его к смерти – точке отсчета, выявляющей в прошедшей жизни ее истинные куски.

Музыка Артемьева в фильме очень "кинематографична". Ее присутствие в кадре почти незаметно, – ибо она не самодовлеюща, не иллюстративна, а как бы является звуковой частью того общего образа мира, который творит режиссер. От первого, полудетского

[✕] Советский экран. 1974. № 3. С.8.

^{✕✕} Салынский Д. Режиссер и миф // Искусство кино. 1988. № 12. С.83.

впечатления от фильма остался потрясающий по силе познания мира и эмоционального воздействия кадр. Ицнат возвращается в комнату, где сидела "таинственная женщина", которая просила его прочитать Письмо Пушкина к Чаадаеву, и вот он видит, что женщина исчезла, исчезла и чашка чая, который она пила, — но остался еще запотевший влагой след на поверхности стола — камера приближается к нему, след сокращается, и это стягивание сопровождается напряженным, на одной гласной, пением хора, и по мере исчезновения пятна громкость пения возрастает до казавшегося уже невозможного... и вдруг обрывается, и последние капельки влаги исчезают уже в тишине... и я испытываю некое подобие катарсиса — освобождение после напряжения — и этот эмоциональный удар всветляет и закрепляет пушкинскую мысль о принятии художником своей Родины во всей ее святости и грехах.

Музыка в фильме. Музыка — материализованное в звуке отражение духовной реальности человека. А может, сама эта реальность?

В простейшем варианте — музыка в фильме — инструмент вызывания эмоций на фоне любого кадра. В идеальном варианте — достраивание зрительного ряда фильма звуковым — в достижении гармонии. В "Зеркале" музыка "высокой классики" не подтягивает кадр к чему-то высокому, а достраивает его в звуковом плане, ибо сами кадры фильма классичны по своей выстроенности и наполненности. Они "сделанные", если говорить на языке художника Павла Филонова: "Цель наша — работать картины и рисунки, сделанные со всей прелестью упорной работы, так как мы знаем, что самое ценное в картине и рисунке — это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу"*.

Я думаю, что идеальный фильм — это видимость куска вечности, если под вечностью подразумевать чистое бытие, в жизни встречающееся только маленькими отрывками. И поэтому чем больше в каком-нибудь реальном фильме времени бытия, тем он ближе к идеалу. Настоящая киноклассика и живет в любом времени, потому что зритель всегда испытывает в жизни тоску по вечности, а смотря такой фильм, он имеет эту возможность если не утолить (полностью утолить ее можно только живя в "бытии"), то хотя бы компенсировать ее, эмоционально переживая видимость бытия-вечности на

* П.Н.Филонов. Каталог выставки. Л., 1988. С.32.

киноэкране.

Бытие в жизни каждого человека – это те моменты, которые остаются в его памяти – это те фрагменты времени, когда он по своему состоянию "чувствовал вечность", приближался к ней, остро переживая, или, наоборот, созерцая жизнь – эти кусочки времени входят в его внутреннюю реальность, и человек несет их как часть себя. Фильм строится из таких кадров, как и жизнь в "обратной перспективе" – из памятных моментов, это и есть "бытие" – оставшееся от всего тотального времени прожитой жизни.

Бессчетные пошпезно-парадные скульптуры Председателя Мао, накладывающиеся на скандирующие безмялжно-бесчисленные толпы – ударно смонтированная хроника трагедии соседнего народа в контексте фильма не менее сильно говорит о ранах нашей истории... Как и история об испанцах, **детьми** увезенных из сражающейся республики в Советский Союз и теперь снedeмых жесткой тоской по далекой родине, сегодня неожиданно становится предчувствием "Ностальгии" – предпоследнего фильма Тарковского, со съемок которого он уже не вернулся домой...

Сталкивая в разных комбинациях все слои фильма, Тарковскому удается создать эмоционально насыщенное киноотражение сознания современного человека, в котором интимные переживания сливаются с историческими коллизиями, пласты образов культуры с отблесками памяти детства.

"Кинематограф – это время, существующее в форме факта", – писал А.Тарковский[‡]. Голос поэта Арсения Тарковского звучит на фоне кадров военной хроники; актриса М.Терехова, играющая и мать, и жену героя, оглядывается, и через монтажный стык мы как бы ее глазами видим настоящую мать режиссера, уводящую детей, играющих героя и его сестру в детстве; младенческий сон, снятый в рапиде, монтируется с жесткими документальными кадрами, – в таких монтажных фразах, как и в поэтической метафоре, от соприкосновения – столкновения смыслов двух разных слоев рождается третий смысл. Причем, чем дальше по внешнему ряду разнесены (в стремлении к параллельности) смыслы этих двух слоев, тем (при удачном сочетании) глубже может получиться третий. Такая

[‡]Сов.художники театра и кино. М., 1977. С.181.

негладкая, заикающаяся речь, сбивающаяся и повторяющаяся история – делающая фильм почти бессюжетным – но ведь и в самой этой "негладкости" тоже заложена большая информация "сбоев" – в выстраивании особой, "сбивающейся гармонии". Основная часть "Зеркала" снята непрерывными, большими, длинными, как во сне, кадрами (все-го их в фильме около 200 против 500–600 кадров обычного фильма такой же длительности) – и, как в фильме "Мой друг Иван Лапшин", эти сверхдлинные кадры, доходившие до эпизода, увеличивают чувство "неподдельной" реальности. Тогда как в обычном фильме кадры несут чисто знаковый–информационный характер – кто говорит, где происходит действие, какое выражение лица у героев – поэтому–то режиссеры таких фильмов за счет уменьшения длительности каждого кадра и достигают некоей иллюзии действительности – зритель просто не успевает "считать" всю зрительную информацию, тогда как длинный кадр обязывает режиссера к созданию в кадре некоей атмосферы насыщенного настоящего, что "сделать" очень трудно.

А в "Зеркале" Тарковскому удаётся даже в хронике найти такие бесконечно длящиеся кадры: солдаты идут и идут по грязной воде – удивительно точно найденный образ войны – как бесконечной и невероятно трудной дороги по грязи.

"Зеркало" – фильм личный, интимный, причем, как для автора фильма, так и для его зрителей. "Это были действительно воспоминания, связанные нашей семейной биографией, жизнью, – говорил А.Тарковский. – И поразительно, несмотря на то, что это была частная история, я после этого фильма получил очень много писем, где зрители задавали такой риторический вопрос: "А как вам удалось узнать о моей жизни?" * Тарковский перенес на киноплёнку "образы своего сердца", и также "сердцем", т.е. эмоционально–внутренним, внесловесным они не считаются, но воспринимаются, и поэтому не поддаются определенной расчленировке–растолкованию, а просто принимаются зрителем как они есть, просто переходят в его зрительскую память, резонируя с личными воспоминаниями каждого, на какой–то глубине, я думаю, общими, "архетипическими" для всех.

И вместе с тем, существуя в историческом времени (фильм вышел на экраны в 1975 году), "Зеркало" обростает и такими зри-

* Искусство кино. 1989. № 2. С.110.

тельскими чувствами, о которых вряд ли мог предполагать автор. В первом кадре картины сын героя, мальчик Игнат, включает телевизор. Мы с Игнатом одного поколения. И так получается, что "Зеркало" для меня еще и зеркало памяти моего отца. И первый раз посмотрев фильм еще в "позднем детстве", я вот уже на протяжении многих лет периодически обращаюсь к нему, каждый раз находя в нем что-то новое. Этому "способствует" еще и драматическая судьба "Зеркала" в советском прокате, когда все фильмы "опального" режиссера вдруг исчезли с широких экранов, и их можно было посмотреть только в каком-нибудь захудалом Доме культуры где-нибудь на окраине, а потом все фильмы Тарковского совсем исчезли гоца на два. И когда с началом "перестройки" и посмертной реабилитацией режиссера его фильмы начали с большим ажиотажем показывать в 85-м году, то я помню: по всему Ленинграду ходила только одна копия то ли с эстонскими, то ли с финскими титрами — очевидно, ретивые кинопрокатчики просто физически уничтожили все нормальные копии "Зеркала", и оно вернулось к нам в таком странном иностранном виде. Так, я "вспоминаю впечатления" от первого знакомства с фильмом, то, что поразило и вошло в мою память, как реально случившееся событие: волны, идущие по заросшему высокой травой полю... и исчезающий след от горячей чашки чая, убранный со стола... Чувство кино — такое возможно только в кино, ибо фиксируется процесс изменения не только человека, но и всей, даже неживой природы. Такое образно-ощущательное постижение мира с помощью фильма было для меня тогда откровением. И даже просматривая эти кадры в "бессчетный" уже раз, я в эти моменты испытываю странное чувство изумления перед самым простым — чувство сопричастности, приближения к миру. Огонь горит между ладонями и просвечивает плоть человеческих рук теплым, домашним светом — образ не может быть расшифрован — это и есть "кинематографичность", то "чувство кино", которое свойственно собственно кинематографу, когда что-то можно сообщить зрителю только средствами фильма и никакими другими, как нельзя будет никогда адекватно снять полифонические романы Достоевского, или даже представить себе экранизацию Пушкинского "Пророка". Каждое искусство имеет свой специфический язык, и искусство режиссера в постановочном кино в том и состоит, чтобы, используя все средства кино, перенести внутреннюю реальность своей души на полотно экрана.

Герой фильма, чей голос мы слышим, ни разу не увидев его лица, своеобразное занавешенное зеркало, альтер эго автора – выпускает из кулака птицу – и в другом фильме это могло бы оказаться "дурной аллегорией", но в "Зеркале" ты понимаешь, вернее, чувствуешь, что "так оно и было" – что это та художественная правда – образ, – которая подобна реальной действительности сна-магический кристалл, проявляющий обычно скрытую внутреннюю реальность человека, часто определяющую поступки человека более, чем обывденный, поверхностный, внешний мир.

"Я замечал по себе, что если внешний, эмоциональный строй образов в фильме опирается на авторскую память, на родство впечатлений собственной жизни и ткани картины, то он способен эмоционально воздействовать на зрителя", – писал Тарковский в 1970 году в статье "Солярис" – без экзотики". И эта общая эмоциональная память есть стержень, на котором строится "Зеркало". Анатолий Эйфрос в книге "Профессия: режиссер" так писал об одном из начальных эпизодов фильма: "...женщина так сидела на березовой речке, она была так причесана и так одета, она сидела в такой позе и так смотрела, она была так снята, так перед ее глазами простирался некий простор, что возникало чувство родства с ней". И я сам вспоминаю свое ожидание отца в детстве на даче: Вечер. Мокрый асфальт дороги. Поздней электричкой должен приехать отец. Его все нет. Свежеет. Я жду – сейчас он придет. Острое ощущение счастья.

Тарковский постоянно использует прием "недоговоренности". Вот мать сидит на заборе и ждет отца. "Если он не придет сейчас, он не придет никогда", – говорит авторский голос за кадром. Но почему он не приходит? Бросает семью? – Но в конце войны он появляется в доме. Его могут арестовать? (действие происходит где-то в середине 30-х годов) – Могут, но прямо об этом тоже никак не говорится. И как бы мы ни хотели понять, почему мать его не дождалась, непосредственно из фильма мы этого так и не узнаем. Но выявленное эмоциональное сопереживание, возбужденное сценой, полностью отвечает замыслу режиссера. А смысл остается открытым – мы сами заполним его, и это придает воспоминанию о фильме еще большую достоверность – ибо опыт режиссера сольется через магию кино с нашим опытом, с помощью фильма извлеченным из глубин какой-то "детской", неосознанной нами вполне, но исподволь мощно на нас влияющей памяти. Так через фильм происходит собственное

осознание себя зрителем:

Кстати, о мозаичности: многие зрители и критики почему-то считают, что фильм начинается со сцены "Я могу говорить" – очень эмоционально и ассоциативно сильной. Но на самом деле – в первом кадре фильма "современный" мальчик (как мы потом узнаем – сын героя) подходит к стоящему в комнате телевизору и выключает его. Эта как бы первая фраза фильма, дающая возможность предположить, что весь последующий фильм – есть некий "телепоток", который мы-зрители-и смотрим. И это – одно из оправданий мозаичности структуры "Зеркала", ибо "мозаичность" – есть одно из главных свойств телевидения, о чем прекрасно писал один из главных теле-теоретиков М.Маклоэн.

"Эстетически "Зеркало" находится в центре всей советской кинокультуры. И оно – источник исканий последующих лет: и сверхсгущенный гиперреализм фильма А.Германа "мой друг Иван Лапшин", и монтажно-документальные построения "Скорбного бесчувствия", и даже социальный авангардизм части параллельного кино – все они как бы предвплочены в "Зеркале".

В "Зеркале" Тарковский постулирует ввод кинематографа в ряд "серьезных" искусств. Подобно Мандельштаму, в чьих стихах быт 20-х годов входил в классическую культуру, сопрягаясь с греческими богами в одном стихотворении, так и в "Зеркале" Тарковский рифмует кинопортрет М.Тереховой с полотном Леонардо да Винчи, а историческую мудрость Пушкина с "новейшей историей" гражданской войны в Испании и с безвременьем начала 70-х годов. Но и сам фильм – уже живая классика, ибо время рассудило – и через 14 лет после выпуска фильм воспринимается без всяких предисловий и с идок и так же впечатляет зрителя.

"Зеркало" – четвертый фильм А.Тарковского. Четвертый из семи. Фильм кризиса, как "Восемь с половиной" Федерико Феллини, и так же, как и у Феллини, кульминация всего его творчества.

Сейчас, после физической смерти Андрея Тарковского, его творчество предстает необыкновенно цельным, как бы единым большим фильмом, который он снимал всю свою жизнь. И этот фильм выстраивает космос Тарковского. Космос трагический, но гармоничный. Ибо художник на то и посылается в мир, чтобы, отражая хаос

бытия, созидать гармонию бытия, выявляя божественную красоту в незаметной от постоянства повседневности. И этот космос пронизывают единые темы и образы. "Жизнь начинается и кончается, прорастая как дерево, и через жертву уходит в бессмертие. Черное, солнечное, дерево видится Ивану во сне, от которого он просыпается уже в условиях войны. Последнее, смертное, дерево тоже растет в мире видений. Под леонардовским деревом – ребенок, воплотивший в себе весь мир. Под деревом в "Охотниках на снегу" Брейгеля, воспроизведенных в кадре "Зеркала" и висящих в салоне станции "Солтрис" – человеческий мир во всей зимней прозрачности с городами и реками, лесами и полями, охотниками и их собаками.

Есть только одно дерево, в котором соединились жизнь и смерть и которое проходит через все эпохи искусства как символ единства добра и зла и символ жертвы, – это мировое дерево". – Так доказательно пишет Дмитрий Салынский в своей очень красивой статье "Режиссер и миф", где на конкретных примерах он показывает целостность творчества А.Тарковского, во всех своих фильмах ставящего "вопрос личной ответственности человека за все, что случилось с нашим миром"*.

Итак, фильм-кризис – он же – вершина. Почему так?

Штер Брук в одной из своих лекций говорит: "Человеку, уверждающему, что знает истину, театр уже не нужен. Ему незачем играть, незачем оценивать театральную работу... Всех нас... обведи-няет одно, а именно то, что никто из нас не знает достоверно, что такое жизнь... С одной стороны, существует некая форма, именуемая театром и выполняющая роль зеркала. Зеркало это стремится отразить и прояснить некоторые отдельные явления, совокупность которых мы и называем жизнью". И это необычайно глубокое замечание, ибо искусство и есть в самом деле то, что дополняет реальную жизнь человека до идеальной жизни. Как если взять здорового человека и его же больного, то искусство – то необходимое лекарство, которое нужно для восстановления нормального здорового существования. Именно поэтому в идеальном государстве Платона

* Искусство кино. 1983. № 12. С.80,86.

нет и не должно быть художников, ибо бытие там идеально-нормально. И — наоборот — чем более в обществе и в конкретном человеке наблюдается отход от нормы-идеала, тем более вероятно появление энергии сопротивления ненормальности, энергии, из которой, на мой взгляд, и вырастает искусство. Естественно, на практике все намного сложнее и тоньше. Но принцип заполнения искусством пропасти между реальным (как правило не-нормальным) и идеалом всегда явственно ощутим.

"Сейчас я начинаю новую картину, — писал А. Тарковский в марте 1973 года. — О чем? Эй-богу, пока вам не знаю. Может быть, о ностальгии по детству, может быть, о желании отдать долги (в фигуральном смысле, конечно). Не знаю, что из этого всего выйдет. А вообще все более или менее в порядке. Правда, устал что-то, сердце стало побаливать, комплексы разыгрываются. В общем, переживания из области "смысла и бессмыслица". †

Разве это письмо не рифмуется внутренне с высказыванием Федерико Феллини о "Восьми с половиной": "И я сказал себе: вот теперь поведай историю человека, глубоко растерянного и, как в твоём случае, кинорежиссера, который искренне, в порыве полного доверия рассказывает о своих сомнениях, о своем смитении, о своих надеждах, о своих снах, о своих заботах, то есть рассказывает все о себе самом". ‡ Я думаю, что эти автохарактеристики режиссеров как рецензии на фильм другого. Воистину: "У черных есть чувство ритма, у белых — чувство вины", — как поет Борис Гребенщиков. И очень показателен факт "национальной архетипичности" этих двух вершинных достижений мирового кинематографа. А с другой стороны, у Феллини даже больше, чем у Тарковского — повторимость образов и мотивов, разбросанных по разным фильмам и сконцентрированных в "Восьми с половиной".

Что же есть фильм "Зеркало" А. Тарковского в контексте мировой культуры? Когда начинаешь мысленно обозревать всю историю кинематографа, хронологически совпадающую с рамками 20го века, то видишь даже, пожалуй, несколько десятков "очень хороших фильмов" — ту киноклассику, которая есть карта отправных точек кино — но, как ни странно, "вертикальных" произведений, вмещающих

† Искусство кино. 1988. № 12. С.73.

‡ Феллини Ф. Сб. М., 1968. С.218.

"весь мир" в себя и ставящих главный для человечества вопрос "Что есть истина?" - всего несколько. И два из них - это "Восьмь с половиной" Феллини и "Зеркало" Тарковского. Ибо многие другие фильмы, как бы хороши и этапны они ни были, ставят все же лишь некоторые, хоть и важные вопросы, а вопрос истины включает в себя все.



Вадим Дранкин (р.1963 г. , г.Ленинград) - сценарист, режиссер, оператор. Создатель видеофильмов в системе "параллельного кино".



ВРЕМЯ ГРОМА, ИЛИ НАШЕ В ШВЕЦИИ

С утверждением паромов возникло сообщение людей ... благодаря им Россия перестает быть Табачной страной для европейцев".
/Поездка в Швецию Ивана Головина в 1947 году

ФИНЛЯНДИЯ РОССИИ ПРОДАЛА "ИЛЬИЧА"

Перед нами, совершенно не качаясь, стоял многоэтажный дом. Дорогой свет лился из круглых окон. На крыше и балконах танцевали под высококачественные звуки. На доме крупно, во весь борт, было написано "СТОКГОЛЬМ-LEMINGRAD" и чуть повыше - "Ильич". Дом источал запах роскоши и достоинства. Мы - два грязных велосипедиста, катавшихся белой ночью по Васильевскому Острову, случайно заехали в Гавань, чтобы замереть здесь от нервного восторга перед кораблем инопланетян. Нет сомнений - инопланетяне! - они не то что выглядят иначе, но и пахнут по-другому! И громко смеются - наши так не могут.

Нам и в голову тогда не приходило, что случится Перестройка, что разрешат ездить по частным приглашениям и что один из нас первый раз в жизни пересечет государственную границу именно здесь, в Гавани; миновав отеческий таможенный и паспортный контроль, и, войдя на устланную ковром палубу, станем читать в своем посадочном талоне:

"Мы рады приветствовать Вас на борту нашего судна. Надеемся, что эта поездка будет интересной и оставит незабываемые впечатления.

Счастливого плавания!"

Как приятно вчитываться в эти документы, где скучный бюрократический язык заставляет поверить, что ты действительно едешь в заграничное путешествие. В пассажирский билет поэмой вписаны четырнадцать "Основных условий":

"...условия определяют ответственность сторон...

...пассажиру запрещается провозить каким бы то ни было способом предметы контрабанды, нелегальную литературу...

... перевозчик не отвечает перед пассажиром за убытки вследствие:

а/ военных действий...

... Счастливого плавания!"

Называемое впечатление номер один - унижение на таможе. Он выворачивал мне карманы - как он смел! И вроде выглядел порядочным человеком - как ему не противно было ковыряться в моем белье! Как не стыдно! Оставив на родной земле морскую кокарду, заготовленную как сувенир, - военная амуниция! - я пытаюсь забыть незабываемое.

Полдня спустя об этом напомним московская старушечка, соседка по столу /дочь в шведском замужестве/, начав причитать /да так и будет всю дорогу и, похоже, всю будущую шведскую свою поездку/: "Хочу московским моим внукам часики купить - внуков у меня трое. Не отберут ли на таможе? Как вы думаете? Часики самые дешевенькие куплю - но все равно ведь могут отобрать - а внуки так просили".

Как они смеют обижать старушку? Такая большая держава, и такая маленькая старушка... Нечестно.

Лучше смотреть в спину города - Исаакий, Адмиралтейство, Гавань - я за границей!

Когда-то корабль носил другое, финское, имя, но Советы, купившие корабль, переименовали его /нехорошая для корабля примета/, назвав... отчеством. Воображение строит возможный ряд: "Виссарионович", "Мироньч", "Кузьмич". Корабль купили в брежневские времена, и, быть может, переименователи убили двух зайцев, почтили двух Ильичей. Кто знает? Достоверно известно лишь то, что иностранцы и понятия не имеют, что плывут на отчестве одного /какого?/ из руководителей советского государства.

Лица компаньонов легко разделяются на беспечные лица скандинавских туристов /те, кто не знает, что такое "лицо"/ и на вроде бы-беспечные лица соотечественников /те, кто знает/.

Соотечественники интереснее. Кто они? Как попали на другую планету? Каким топливом заряжают свои ракеты?

За столом, кроме московской старушки, - три дамы средних лет. Стол - это стартовая площадка здешних знакомств. К вечеру пассажиры, правда, успевают использовать какие-то другие "каналы" и образуют группки, общества, компании, рассыпающиеся при виде Стокгольма, как правило, навсегда. За столом же можно обстоятельно побеседовать, наслаждаясь едой и, если повезет, - разговором.

Впрочем, даже компания едоков в экстравагантных условиях планетного перелета расколота. Сейчас отчуждена дама с тяжелым лицом, которая надменно, "сверху" негодовала на таможеню: "Я на работу! У меня в документах ясно написано – на работу! А досматривали мой багаж!"

Что за работа? Неизвестно... Но судя по ее фирканью и недоуменным бровям при моих рассказах о замысленном пении на улицах /валюты не хватает/ и автостопу на дорогах /та же причина ее работа достаточно ответственна. Через пару дней именно эта начальственно улыбаясь, проставит мне в мой красивенький заграничный паспорт штампик с безграмотным, но самоуверенным текстом: "Явлен в Советское посольство в Стокгольме". Таких дам один знакомый называет "совтётками"

Другая моя соседка в ответ на недоуменные брови на тяжелом лице слегка толкала меня ногой и изображала глазами: "Молчи! Донесет!" При этом она щебетала: "Мне так грустно становится как только я подумаю, что этот рыжий /далее шло ругательство/ сделал с Россией. Каким был бы Петербург при нормальных условиях. Не хуже Стокгольма!" /Имелся в виду человек, давший имя теплице/. Лучшего способа прекратить мои рассказы она не смогла бы найти, ибо граница Гласности в компании незнакомых людей проходила как раз возле имени Ильича. Ну, а сама-то что делает! Что говорит! А почему бы и нет? Бывшая ленинградка, а ныне мальмёнка со шведским паспортом – что ей Гласность и правила приличия за советским обеденным столом? /"Неужели вы не понимаете что это он во всем виноват?"/. В отместку я продемонстрировал ей открытку, запасливо купленную перед отъездом.

– "Да это же наш железнодорожный вокзал!"

– "Правильно, а теперь переверните и прочтите".

– "Швеция. Мальмё. Железнодорожный вокзал, на котором останавливался Ленин".

Вот так-то, дорогая фрекен- не знаю, как Вас нынче звать Ильича не уедешь, не уплывешь!

По последней даме в нашей компании, настоящей ленинградке сразу было видно, что она едет зарабатывать деньги. Первая ее фраза была:

– "Сразу видно, что вы не едете зарабатывать деньги".

– "?"

– "Деловые люди пиво за валюту не покупают – терпят до до"

Я налил ей пива:
- "Выпьем за Стокгольм!"

... Сто пятьдесят лет назад другой мой земляк, Иван Головин, пил в этих краях шампанское:

"... в тот миг, когда открылся перед нашими шпиц церкви, мы дружно выпили за здоровье Стокгольма".

Плыл Головин на пароходе шведской работы, который русские владельцы назвали "Князь Меншиков".

Отсель грозить мы будем шведам! Фабрики - рабочим! Счастливого плавания!



"Столица Стеколна вся объемлется. вполы против царствующего града Моск или меньше... но палаты и садов укра нием является яко бы некое имея прѣв ходство..."

"Описание трех путей из России Швецию, составленное в 1701 г. архиепископом Холмогорским Афанасием".

"... И спросил царь:
Так скажи мне, дедушка, где ты такой хлеб сеял и где твое поле было?"

И сказал дед:
Мое поле было - земля Божья. И вспахал, там и поле..."

Л.Н.Толстой."Зерно с куриное "

В ШВЕДСКОМ ЦАРСТВЕ-ГОСУДАРСТВЕ

"...Так за царя, за Родину, за веру..." - запел после обхитро поглядывая, граф Павел Львович Толстой.

В здешнем королевстве русские аристократические титулы не отменены и к Павлу Львовичу можно всерьез обращаться: "Скажит граф...".

" Да, я - монархист! Если бы не этот дурак Керенский! Что он такого сделал? Единственный его подвиг: переспал с царской любовницей! Мы смотрели на Февральскую революцию с балкона дома на Таврической, в Петербурге. Кстати, на месте ли Гостинный Двор? А что там продают? Так вот, как только мы увидели этих разгулявшихся хамов, сразу решили - уезжать! Уехали в марте! Керенский - дурак! Бросили большой дом, стоял под номером 29 на Таврической. Правнучка ездилась смотреть - говорит: надстроили два этажа".

Граф Толстой, как и полагается, помещик. Шведская "Ясная Поляна" носит имя Халмбубуда, что значит "общественный амбар для соломы, которым пользуется все село". Впрочем, села здесь нет, а есть самое настоящее поместье. Граф сдает его в аренду стар, нет сил самому вести хозяйство. Сын "графскому" делу из-

менил: служит в налоговом ведомстве и "в лесу жить не хочет". Так что – приходится сдавать в аренду. Но не всем подряд. Вот тот дом, например, сдан навсегда беглой казачке, некоей Матрене. Ей за восемьдесят, она любит собирать в лесу грибы и ягоды, шведский учить не стала, а ее казачий диалект русские не понимают.

"А я – люблю охотиться!" – Павел Львович, которому восемьдесят восемь, указывает на стену, увешанную ружьями и трофеями в виде рогатых голов. На противоположной стене – живописный дедов портрет кисти какого-то известного художника: знаменитую бороду Павел Львович посчитал неудачно изображенной и подрисовал в ней седины. Рядом – портрет другого деда – доктора Вестерлунда, шведского врача и садовода (выясняется, что на окне у моей шведской хозяйки растет вестерлунд – по имени шведского дедушки Павла Львовича).

"Мой отец, Лев Львович, – уже в который раз, вероятно, рассказывает граф, – помогал голодающим в Поволжье, ослаб и заболел. Лечась в Финляндском княжестве, услышал про шведского чудо-доктора. Приехал к Вестерлунду, выздоровел и женился на его дочери. "Я – наполовину швед, – Павел Львович серьезно, – жена моя – шведка. Дети – шведы! Швеция – маленькая, но превосходная, культурная страна! А русские – невежи! И фильмы по дедовским книгам делают плохие! То ли дело американский "Война и мир"! Там играет Одри Хэпберн! А вообще Толстого надо просто читать – вот сейчас в который раз читаю "Отца Сергия" – какая книга!"

Графиня Толстая в разговоре не участвует – она не понимает по-русски, хотя говорит постоянно "пожалуйста", пододвигая новые блюда. Этим утром восьмидесятидвухлетняя графиня делала маникюр в городе и любезно подвезла нас – сама! – до поместья.

Чуть лучше русский знает дочь, Анна Павловна, которая недавно специально начала учить язык. Анна живет в собственном доме неподалеку, она – лингвист. "Графинюшка" только что из России, с очередных толстовских празднеств, на которые со всего мира съезжаются десятки Толстых. Ее детским портретом закан-

чивается фамильная галерея фотографий и копий с гравюр и портретов, где Павел Львович - мальчик в ксстюме ученика столичного училища правоведения, что на Фонтанке ("чижик-пъжик, где ты был?" - пелось именно про этих молодых людей, но черно-белая фотография не дала удостовериться в "птичьей" раскраске их мундиров).

"Кончить училище не удалось! Революция, этот дурак Керенский! Уехали! А вот однокашник Сережа пошел воевать за царя - убили его... И царя Николая Александровича убили... Но, - Павел Львович опять хитро взглянул, - Господь Бог хранит царя Карла Шестнадцатого Густава!"



"...публика ведет себя так прилично что за ней не нужно надзора".

Е.Я.Кулакова-Грот. "Швеция".
Сенкт-Петербург, 1909 год

" ВРЕМЯ ГРОМА"

"Они просто выкинули меня с моей Родины. Меня, так страстно трудившегося во имя торжества дела социализма в Чехословакии, объявили "лицом без гражданства, временно проживающим на территории Чехословакии"; с одним правом, которое одновременно было и обязанностью – покинуть Чехословацкую республику в сорок восемь часов. Они меня просто вышвырнули, как собаку...".

Этого шведа зовут, к примеру, Вондрачек. Но он может носить любую другую чешскую или словацкую фамилию.

К моменту Пражской весны Вондрачек был влиятельным комсомольским функционером. Публицист, теоретик и практик чехословацкой Перестройки 1968 года, Вондрачек был материально обеспечен, популярен, окружен партийной заботой и друзьями. Был близок к Дубчеку и тепло относится к нему до сих пор: "Это – искренний человек, идейный коммунист. Он верил в социализм. И был свергнут, исключен из партии. А нынешний, Якеш – я его тоже знал – всегда верил в одно: в могущество советской партократии".

Когда пришли советские танки, Вондрачек участвовал в демонстрациях. Утверждает, что с одной целью : избежать кровопролития. Подгорный, приехавший наводить порядок, об этом осведомлён – Вондрачек говорит голосом Подгорного: "Тут у вас орудут молодчики – подстрекатели, экстремисты, переродившиеся комсомольцы, – Подгорный достаёт бумажку, – в их числе ... Вондрачек..."

И Вондрачек катится к основанию пирамиды, к ее подошве. От него отвернулись друзья, он уволен со всех постов : "удалось устроиться ночным сторожем".

И – в нем прозревает Человек : "Самое постыдное воспоминание того тяжкого года – русский солдат в табачной лавке. У него нет денег. Это темный крестьянин, не знающий ничего о "социализме с человеческим лицом". Его пригнали в военной форме на чужую

землю, у него нет денег, он хочет курить. Хозяин лавки, конечно, презрительно его выставляет. А я – я очень хотел купить ему сигарет – и не купил. Струсил. Я, рискующий жизнью во время демонстраций, струсил в табачной лавке. Побоялся, что меня обвинят в пособничестве оккупантам. Ночной сторож – коллаборационист!.. До сих пор я помню простое крестьянское лицо этого солдата, который смертельно хочет курить и которого унижают, отсылая вон. Я каюсь перед ним – пусть он меня простит...”.

Потеря Родины, друзей, крах карьеры, крах идеалов...

Вондрачек "правеет": "Коммунизм построен на вражде и ненависти”.

Вондрачек "очеловечивается": "Я полюбил людей. У меня нет ненависти ни к Брежневу, ни к русским. Я молюсь за русских, я молюсь за весь род человеческий. Я благодарен Богу и судьбе. Я узнал, что такое дружба: у меня было сто друзей, а осталось пять, самых верных, самых лучших. Я узнал, что такое любовь: все невзгоды скитаний и эмиграции со мной делит жена. Я узнал, что такое Родина, когда потерял ее...”.

Вондрачек – публицист, теоретик, практик чехословацкой политической эмиграции. Есть время на исследовательскую работу: написал фундаментальную биографию Каткова. Как? Почему Катков?

– "Да, Катков. Да, полная его биография, единственная в мире Называется "Время грома", вышла по-английски в США, в университетской серии, которая в обязательном порядке поступает в университет Чехословакии”. Так, контрабандой, он возвращается на Родину: чех, шведский гражданин, выпустивший в Америке книгу о русском "консерваторе”.

Что я знаю о Каткове? Немногим больше скудных строчек из энциклопедии: "... был близок с Белинским и Герценом... либерал.. в связи с Польским восстанием резко изменил свои взгляды... один из выразителей " дворянско-монархической реакции...”.

–" Да, вы правы... Да, похоже... Но я не такой стойкий и принципиальный... Вы знаете, со мной вот вместе работает один ваш земляк, ленинградец. Он, как говорится, "ярый антикоммунист”. И он – скотина. И это я могу сказать ему в лицо. Но я трижды расцелую любого коммуниста, если он – добрый человек”.

– "Пан Вондрачек, а чем занимается Ваша жена?”

– "О, ей повезло! Она без ума от русской поэзии – и, представляете, преподает ее молодым шведам в университете”.

"Мы очутились в комнате такой же мрачной, как и все остальные, но еще грязнее..."

А.Стриндберг. "Красная комната",
Стокгольм, 1879 год

"...Товарищ Ольсен сказал на прощанье: Судьба шведского рабочего движения зависит от исхода борьбы, которую ведут между собой за овладение массами две партии: большая социал-демократическая и пока еще немногочисленная, но революционно настроенная коммунистическая партия. Я надеюсь, что шведская компартия выйдет из этой борьбы победительницей и что она поведет ее к той же цели, к которой ваша Советская страна уже пришла..."

И.О.Рабинович. "В стране воды и гранита (По Швеции)".
Москва-Ленинград, 1930 год

"КРАСНАЯ КОМНАТА"

Господин Свенсон сказал мне на прощанье : "Хотите кофе? В соседней зале - небольшой буфет: кофе, сласти, свежие газеты..." Я торопился и "красного" кофе так и не отведал.

Вывеска "Красная комната" ничем особенным не отличалась от других шведских вывесок, и, если бы не мои местные друзья, сообщившие о том, что это - бук-кафе, изба-читальня троцкистов, ныне самой "революционно настроенной компартии" во всей Швеции, я бы этой вывеской не соблазнился. Более того, мне и в голову не пришел бы революционный смысл названия: здесь, в Швеции, эпитет "красный" ближе к древне-русскому "красный" в смысле "красивый" - Прекрасная комната, Прекрасная площадь, Прекрасная страна...

Плакаты, развешанные по стенам, и книжные корешки на полках убедили меня в том, что название книжной лавки восходит скорее к Красной Армии.

Хозяин "Красной комнаты" Карл-Аксель Свенсон оказался поджарым традиционным шведом. Модная стрижка выдавала человека, неравнодушного к своей внешности. /Впрочем, все шведы выглядят ухоженными./ Тонкая оправа соответствовала книжным полкам. Вежливая

улыбка не сходила с лица революционера: "Каталог? Издания на русском? Журналы нашей партии?"

К счастью, шведские коммунисты расколоты на какие-то секторы, подсекты и подтолки. Здесь есть марксисты, ленинисты, троцкисты, маоисты, и этот идейный разброд мешает шведам прийти к цели, к которой наша "Советская страна уже пришла".

Одна из шведских компартий даже имеет места в парламенте. Их лидер, имеющий вид любителя хорошо отдохнуть и поесть, заигрывает с правыми парламентариями для сохранения своих позиций в Риксдаге, а в предвыборных речах, которые мне довелось слышать в ходе предвыборной кампании 1988 года, он много говорил об экологии и ядерной энергетике, ни словом не обмолвившись ни о диктатуре пролетариата, ни о могильщике буржуазии, ни о экспроприации экспроприаторов, ни о коммунизме вообще.

Боже правый, чего им не хватает? Зачем им Троцкий и мировая революция?

"Это - блестящий человек, гениальный политик, талантливый писатель. - Карл-Аксель берет с полки книжку. - Можете поздравить нас с крупным успехом - мы недавно перевели и издали новый сборник статей Троцкого". - "А что у Вас есть еще?". - "В"Красной комнате" большой выбор! Прежде всего, конечно, Троцкий... С десяток наименований. Есть книги Плеханова, Канта, Бухарина, Маркеса, Маркса, Коллонтай, Сталина, Маркузе, Ницше, Кирова, Гегеля, Лейбница, Шопенгауэра, Кастро, Медведевых, Ламартина, Бебеля, Грамши, Кропоткина, Мао Цзэ-дуна, Богданова, Камю, Мануильского, Гашека, Фигнера, Горького... Хотите что-то приобрести? А, Вы не читаете по-шведски, извините! А, мало времени! Да-да, всего доброго!"

В "Красной комнате" стоял запах хорошего кофе. Говорят, неплохой кофе варили и век назад в "Красной комнате" у Берна, Август Стриндберг любил поговорить с интеллигентами-радикалами о необходимости революции ...

Кириллов
июль 1989 года



Ирина Брондз

... ВОСЛЕД ЛУЧУ...

О, как же я хочу,
 Нечуемый никем,
 Лететь вослед лучу,
 Где нет меня совсем!

О.М.

Кирилловы – и город, и обитель.

Сумерки – и утренние, и вечерние – преобразуют монастырь. Сумерки – граница, которую ежедневно преодолевает каменное воинство. Ночь – на посту. Насторожатся, подтянутся одиннадцать храмов и продолжат службу – охранять эту землю, напитанную благодатью, глумление вынесшую и еще имеющую немалые силы, чтобы давать. Одиноко храмовым телам. "Живите в доме – и не рухнет дом". Это понимали люди и забывали, или не успевали вспомнить, или не желали, а может быть и не задумывались о цене потерь, когда меняли одну дорогу на другую. Ведь все знали – и про семь раз отмерь, и про то, что насильно мил не будешь. И как легко все оказалось только китайской мудростью. Теперь – пустой монастырь, где прежде жили до 1 000 человек, и смущенные, о светлости забывшие, мы. И текут две жизни – быт и бытие. Разорвались. Или вернее – так и не смогли срастись? Храмы стерегут томщееся бытие, бытие уже без чудес. А за монастырской стеной – пьянство и недобромыслие, лукавство и сквернословие, нетерпимость и стяжательство. От этого мира ограждались, за него просили, а он – прежний?

Какой выбрать жанр, чтобы и выплакать, и покаяться, и восхититься? И чтобы обнаружить смысл – в том, что здесь происходит и что происходит с нами, со мной?

В каком жанре просят – и у кого – заботливого хозяина монастыря, валюту для реставраторов и стиральный порошок для работников гостиницы, чтобы не выгнали реставраторов на улицу?

В каком жанре добиться, чтобы дороже оценили труд тех, кто может спасти здание?

В каком жанре помочь возобновлению традиции монастырской

кружки?

В каком жанре убедить хороших людей в том, что срочно надо взрубить давно больные деревья, угрожающие соборным стенам и мешающие проложить дренаж вокруг храма-смертника?

Каким жанром подружить, а лучше - соединить подвижников-реставраторов с трудолюбивой администрацией музея, выполняющей планы и инструкции?

В каком жанре призывают спасать, сотрудничать, объединяться, любить?

В окна кельи, где пишу, смотрит храм Преображения. Церковь стоит рядом, ежедневно привожу к ней экскурсантов, а ей удается быть такой, что каждое обращение, взгляд на нее - проверка. И кажется - поддержки она ищет.

Мне слово, и я - о чем? О том, как умирает монастырь, и о тех, кто ставит капельницы, кто любовью своей способен не восстановить - это невозможно, но хотя бы остановить разрушение. О том, какие тревожные закаты и добрые рассветы обрамляют монастырь ежесуточно. О том, как ежевечерне стаи ворон проделывают путь от церкви Усекновения честной главы Иоанна Предтечи к церкви Введения Пресвятой Богородицы во храм - что это за маршрут и почему стаи ворон?

А как быть с этими строчками дневниковых записей: "Ежедневно - дар. Ежедневно - пир. И не насытиться. Перед каждым - человеком, храмом - держать отчет, ибо чистота помыслов, поиск смысла, тревога за землю свою и за ее часть - душу свою - это то, что монастырские стены хранили и требовали от тех, кто был здесь вчера и кто есть здесь сегодня"? Это - тоже моя правда о монастыре.

Я - экскурсовод, знаю, что когда-то обитель эта была "крупнейшим феодалом", что монахи уже в XVIII веке продавали украденные из монастыря книги и иконы, что Леонид Ширшов - "большой строитель" и, вероятно, творец храма Преображения Господня, был разжалован в "рядовые" за то, что в общежитийном монастыре в келье своей хранил деньги и запасы продовольствия. Еще я знаю, что после смерти преп. Кирилла братия настолько увлеклась землей, что большинству и некогда было помнить о горнем.

Когда начался распад? А вдруг это наизнь, навечно - эти сюжетные формулы, и тогда рождаются Слово "О гибели Русской

земли" и "О Законе и Благодати"?

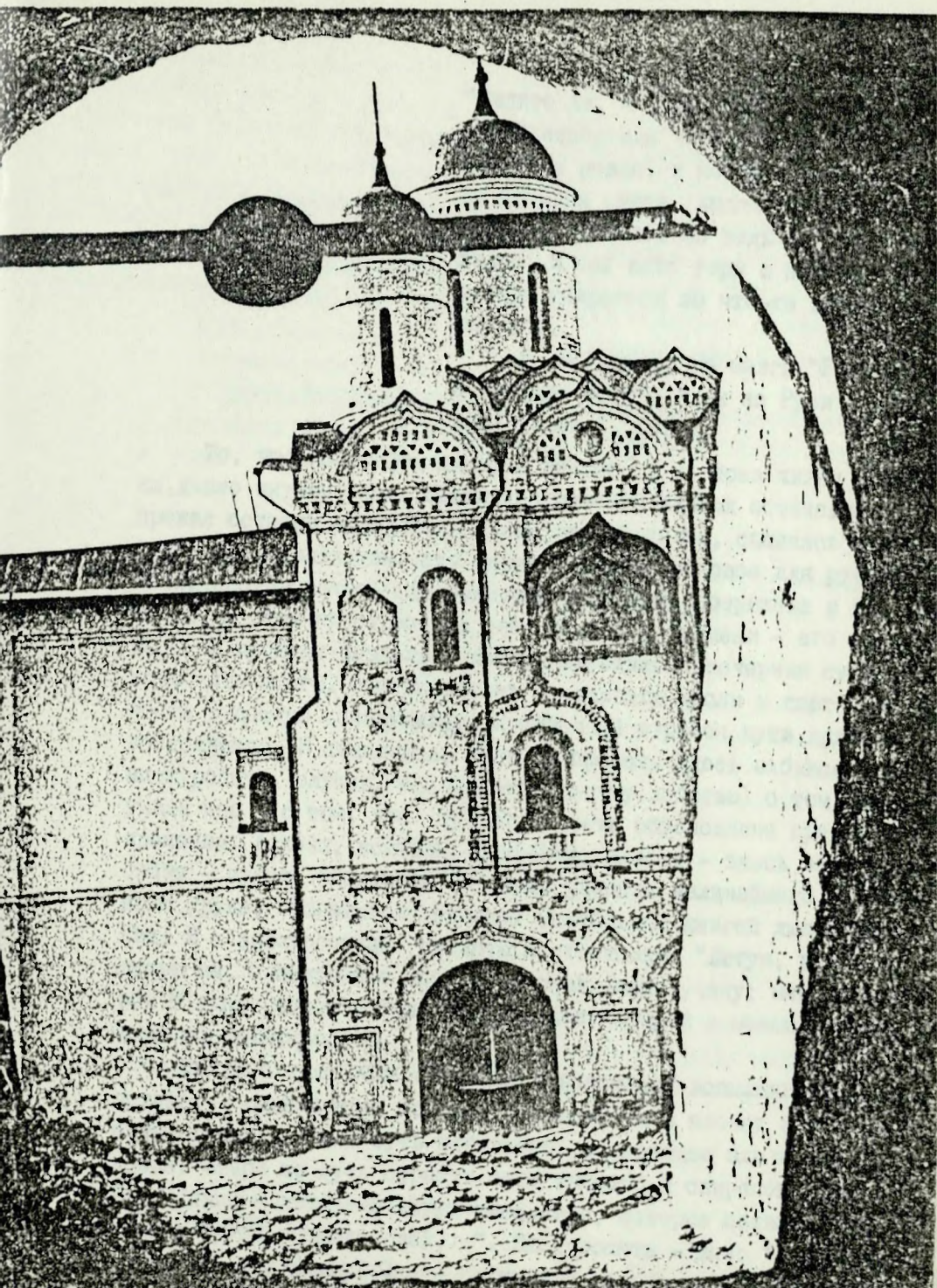
Город и монастырь – Кирилловы. Город порожден царским указом (1776 год), место монастырю, по словам Пахомия Логофета; в конце XIV века определит Кирилл. В Москве, в Симоновой обители услышит он глас Богородицы: "Кирилл, изыди отсюда и иди на Белоозеро ибо там уготовано тебе место где сможешь спастись". "Кирилл отворил оконце келии, видит: свет яркий стоит и направлен он в сторону страны Белоозера, и монастырь стоит, и там же стоит Кирилл от гласа слышанного и видения многия радости исполнившийся". "Место, где святой Кирилл поселился, был бор очень великий и чаща и не было там человека живущего. Место было мало и кругло, но zelo красно, все как будто стеною отгорожено видами".

...В церкви Кирилла Чудотворца – стенды и экспонаты повествуют о жизни города Кириллова в советский период. Герои Октябрьской революции и войн, передовики производства – с фотографий, а когда-то – и чучела животных, бегавших по лесам Белозерья, пытаются утвердить то ли неравенство (в пользу свою, конечно), то ли преемственность. Не равно ли это?

Не звучит рядом с церковью колокол, некогда слышный за 60 верст. Зато выходит местная газета с суворинским названием "Новая жизнь". По привычке призывая объединиться пролетариев всех стран, она есть теперь замена четьям-миньям и та мера, которой из жизни праведной вычерпывают грехи.

Но этот же город вырастил тех, кто, приветливо здороваясь с горожанами, ежеутренне идет в монастырь (музей-заповедник): изучать, спасать, беречь. Приходят, не торопясь и не опаздывая, женщины и мужчины, те, кто знает правду о монастыре и строит жизнь свою с учетом того, что завещали и Кирилл Белозерский, и Нил Сорский, и изографы, и строители, здесь творившие свои судьбы, украшавшие эту землю, отгоняя молитвами, помыслами и трудами своими бесов, очищая эту часть России. Ими жив монастырь, теми, кем жива любая земля, земля, которую любят.

Монастырь не дает теперь хлеба насущного – сам нуждается. Голодно и в городе. Смирно проходишь, слыши брошенное: "Нам самим урвать нечего, а тут приезжают всякие..." А в пале нам одно "место человека во вселенной" – Кирилловы и город, и обитель.



"Видите ли, - пришло мне в голову, - людей испортило чтение карт. Там всё плоско и ровно, и когда нанесены четыре стороны света, людям кажется, что всё уже сделано. Но ведь страна - не атлас. В ней есть горы и низины. Она должна упираться во что-то вверху и внизу"...

Р.-М.Рильке. Из книги "Рассказы о Господе Боге", "Как на Руси появилась измена", 1904.

То, что география диктует внешность и образ жизни человека, давно внушено нам. Шестидесятилетний Кирилл остановился и прожил остаток - 30 лет - своей земной жизни, спасаясь и спасая; остановился там, где теряет остроту роковое для русской жизни противоречие, где возможна гармония созерцания и деятельности. В этом пространстве свои законы у времени - его больше, оно не прощает безделье, заставляя ближе к вечерним сумеркам подводить итоги. Оно разрешает взвешивать мысли и дает возможность радостно обнаруживать пройденный отрезок пути духовного восхождения. И стидиться, если не прошел. Здесь забываешь (и экскурсанты, слушая, подчиняются твоему забвению) о том, чему учили нас - о том, что нравственность обусловлена средой и временем. Аскеза, исихазм, смирение, любовь - здесь загадка и сразу - идеал. "Лествица" Иоанна, учебник величайшего монашеского труда, становится желанной настольной книгой людей мирских. Я - экскурсантам - цитирую Лествичника: "Лютую, воистину лютую мы, о смиренные монахи, переплываем пучину; многих ветров и скал, водоворотов, разбойников, вихрей и мелей, зверей и волн исполненную.

Скала в душе есть свирепая и внезапная вспыльчивость. Водоворот - безнадежие, которое объемлет ум и влечет его во глубину отчаяния. Мели суть неведение, содержащее зло под видом добра. Звери же суть страсти сего тяжкого и свирепого тела. Разбойники - лютейшие слуги тщеславия, которые похищают наш груз и труды добродетелей...". Экскурсанты - мне: "Где можно прочитать эту книгу? Она - на каждый день пужна". Вспоминают ли они о "Лествице" потом, о себе - таких?

Наверное, нам это ненадолго. Потому что - нам дано другое время, **раньше** своим оружием, в котором не всегда разглядишь те же ветры и скалы. Но теперь остаются частью твоей жизни - Кирилл, не умеющий осудить, но умеющий умиляться, любить и растить любимое; Дионисий Глушицкий - **строгий и светлый взгляд его**; Нил Сорский - "**Бог да простит всех**". и - низкое небо. Каждый день, каждый вечер - другое. Не отсюда ли слышнее обращения людские к Всевышнему? И не здесь ли даже помысли определяют судьбу твою и твоей земли?

Кирилло-Белозерский монастырь
лето 1989 года



Д. Синочкин

НАБРОСОК КОНТУРА ЭСКИЗА (эскиюза?)

Варианты заглавия:

Реквием по теленку Щ-854

Ореол обитания

Рассыпанная мозаика

Сучьи черенки

Подзаголовок:

О некоторых особенностях современного восприятия искусства, об отдельных закономерностях литературного процесса и не только об этом.

Содержание:

1. Краткое изложение основной мысли.
2. Развитие тезиса с приведением аргументов и контраргумент
3. Выводы с обоснованием, почему все именно так, а не иначе

Первый эпиграф:

"...и забываешь, что в воздухе
столько веков уже носится над
нашей родиной пугачевщина, гото-
вая взорваться в любой момент..."

Б.В.

Второй эпиграф:

"...Мы были музыкой во льду."

Б.П.

Оговорка:

Данная статья (если это можно называть статьей) отнюдь не выражает (это, впрочем, будет ясно из контекста) мнения всей редакции, как и любой подписанный материал в нашем журнале.

* * *

Очень уж быстро все меняется.

Интересно, если кошка, которая привыкла видеть все в бело-серо-черной гамме, вдруг заполучит цветное зрение, тогда что?

Даже не калейдоскоп, и не видеоклип, скорее - рекламный

ролик, вклейки между кадрами. Вроде ничего и нет, а выйдешь из зала - чего-то хочется.

Проходя из ванной в спальню, задержаться на секунду, кусок Сокурова посмотреть.

Как отделить политику от искусства?

Восприятие Ходасевича, когда мыло есть, и тот же Ходасевич, когда мыла нет - это одно и то же?

А семь томов Солженицына, печатающиеся на тех же станках, что и талоны на мясо: где первичное, а где - вторичное?

Нужна энцефалограмма восприятия.

Как-то неловко перед читателем. Обещали о вечном (см. "Сумерки" № 1), а все как-то на талоны сбивается повествование. Неудобно. Тут одно спасение - жанр. Как у Розанова, чтобы любой пустичок в строку, и становился бы эстетическим фактом (актом).

Раньше, с цензурой, было примерно понятно, "чего нельзя". Теперь, в условиях гласности и открытости, расклад меняется. Пробиваются (всплывают?) прежде всего те вещи, в которых верхнее чутье патриота улавливает нужный аромат. Остальной букет, гамма обертонов - патриота не интересует. Была бы верной основа.

И уже пошел в ход Александр Исач, и приспособливает его для своих мелких нужд критик В.Бондаренко, и напяливает на вчерашнего Щ-854 черную футболку с колокольчиком, как у прокаженного, не заботясь о размере... И приспособят, можно не сомневаться. В принципе, любому писателю можно всучить любые взгляды. Было бы желание да умение работать с цитатами. А Солженицын, с его вертикальным устремлением к православию и единовластию, будет приспособлен и употреблен непременно. Для радетелей русской национальной идеи это просто находка, как только стало дозволено - так и вцепились.

Противно, как оловянная ложка в холодных жировых бляшках...

Вообще употреблять куда безопаснее, чем не пущать.

Плюс товарная стоимость. Огромная зона свободной продажи. "Но можно рукопись продать" - на здоровье, но зачем в таком неприличном контексте?

Козыряют – Флоренским, увлекают читателя Карамзиным. "Что он Гекубе, что ему?"

Третье лицо ("они") – это так, условность. Можно и первое, и второе.

Не знаю, многие ли подписчики "Сумерек" прочитали статью Флоренского из второго номера. Боюсь, что большей частью отметил имя, горделиво хмыкнув – и дальше. Я ее сам не прочитал.

Знаковая культура. Крупноблочное восприятие – чего уж тут. Пустотелые блоки (см. "Сумерки" № 4): имя, два-три термина, общее представление о концепции. А что еще? И зачем?

(Параллельность: так и в литературе, и в кино, и на телевидении, и в экономике, и в политике...)

Тогда для кого все?

А так.

Получить от машинистки пачку неразобранных листов. Подержат в руках. И все? Все.

Оревуар. И к черту.

Система блоков – это возвращение к средневековью. Синтагмы, устойчивые формулы, канонические описания. И еще – стремление обязательно расставить писателей по рангам – иерархия.

Спираль развития культуры. Только почему мы считаем, что спираль – это обязательно вверх? Бывает и вниз.

Пикуль и Дума – вздох, Кристи и Адамов – на ура, а до Дюренматта или Виткевича все никак... И это не воображаемый средний читатель, на которого с некоторым снобизмом долгое время полевывали, а я, вы, мы, мы с вами, достопочтенные!

Сегодняшнее смятение в умах и нерзбериха происходят еще и о вполне реальной тоски по благословенному застою – потому что именно бездонность отечественного бардака определяла то значение и влияние русской литературы, подобного которому не знает культура Запада. В самом деле, ну кто Набоков у них? И кто – у нас?!

Где еще в нагрузку к четырехтомнику Набокова будут навязывать официальный орган правящей партии? (Это не хохма. Это на самом деле было – на одном из крупных ленинградских предприятий к подписному талону полагалась нагрузка в виде "Правды").

Непредсказуемость власти и, как следствие, парадоксальность

действительности – еще один животворный родник, один из трех источников, из трех составных частей отечественного кастальского ключа.

Третья составляющая – парадокс восприятия: при абсолютном неверии – глубочайший пиетет к печатному слову или телепередаче ("Раз пропечатано – почему ничего не меняется?" А почему, собственно, должно меняться?), феномен Робин Гуда – Невзорова.

Нынешний Швондер Шарикова не боится. За 70 лет воспитали послушного Шарикова с дистанционным управлением. Самонаводящийся Шариков...

Такое напряженное молчание, как трое незнакомых в лифте. И глаза деть некуда, потому что все время в чье-то лицо уткнешься.

Оседает тяжестью, как дешевый портвейн в желудке.

Отношение к литературе как вечной и неизменяемой данности ("Грааль" – помните?). Оказывается, не она влияет на восприятие, а наоборот, восприятие, со всем присущим времени компотом, разрывая живые ткани, внедряется в литературу.

Или так: воздействие литературы на читателя прямо пропорционально сдавливанию этой самой литературы со всех боков. Если давление равно нулю – воздействие соответственно. (Качество здесь оовершенно ни при чем). А если уж самую литературу начинает раздувать и пучить изнутри (от скопления идеологических газов, например) – тогда в минус. Закон Синочкина.

Избыточность информации. Обилие фактов позволяет делать любые построения и ставить любые допущения на строгую фактическую основу только выборочно. Дошлый Запад убирает избыток в компьютерную память и достает необходимое по мере необходимости. И то – изобретение дешевле 10.000 проще сделать заново, чем найти. А у нас все – в активном запасе, в сегодняшнем обороте, мы уже не велосипед открываем, а способ добычи огня.

И реальными становятся не те логические цепочки, которые ближе к истине, а те, которые сбываются, что далеко не всегда совпадает.

Раньше мы умели отсеивать чепуху, добывая между газетных

строчек информации. Теперь осваиваем понемногу новое умение: видеть структуру по опорным точкам, угадывать контуры полицейского государства по рассеиванию брызг критической слюны... Потому что вроде бы все отдельно: платформа "Нашего Современника" - отдельно, манифесты "Памяти" и мнение обкома никак не соприкасаются, военно-патриотические клубы, в которых вчерашние афганцы воспитывают в мальчишках "послушание и воинские навыки" (так в газете) - вне всякой связи. А уж Объединенный фронт трудящихся сюда просто никакого отношения не имеет.

Но если по этим косточкам восстановить завтрашнего динозавра... Хрустнут всяческие Мандельштамы, всеу потревоженные в до сих пор неизвестных могилах.

И что самое печальное: бить будут поклонников жидо-масонского искусства - Солженициным. Потому что королевской печатью можно колоть не только орехи (это бы полбеда), но, при случае, и башку ближнего.

Зеркальное отражение.

О многом позволяют судить хотя бы те логические допущения и выверты, которые приводят "правых" к совершенно внезапным выводам. Ну например: оказывается, что главные виновники ферганской трагедии - те, кто поднял шум по поводу Тбилиси!. Солдаты внутренних войск напугались, командиры растерялись, их направили в Фергану без оружия, и турки оказались беззащитными. ("Сов.Россия", 13.07.). По той же самой логике академик Сахаров на съезде "оскорбил память наших воинов-афганцев". А Самиздат, по мнению критика Д.Урнова, сам не хочет официально издаваться, потому что ореол "гонимости" ему выгоден...

Я предлагаю вдуматься не в суть абсурда, а в прием, в способ взаимосвязи. Уверен: это - упреждающий удар, это - "от такого слышу", зеркальное отражение реальной взаимосвязи боевиков и идеологов.

Моментальный снимок восприятия.

Надо облегчить жизнь будущему Лотману.

Поди потом, объясняй, кто такой Бондаренко, откуда и зачем - в подстрочной сноске. Вот уже и эпическая строка "Тридцать третьего портвейна..." (А.Г.) для подрастающего поколения туманна, загадочна и нуждается в комментарии.

Забавно ридиться в пророка в непредсказуемом отечестве. Но думаю, что полный (?) Солженицын будет у нашего читателя куда раньше, чем полный Булгаков или (тем более!) академический Мандельштам ("что за фамилия чертова!").

"Левые" этот процесс понимают, по крайней мере, чувствуют безошибочно. И вот уже прилетает по адресу Александра Исаевича внезапная и косвенная "плюха" от Бенедикта Сарнова в "Огоньке". Шипел и плевался один из редакторов нашего журнала Алексей Гурьянов, прочитав критический опус. Полно, Алексей Юрьич! Не в Солженицына критик метил, не в него и попал. Строго говоря, Солженицын здесь вообще ни при чем. Его имя становится разменной монетой, козырной картой, литературной дубинкой: кто первый успеет да половчее схватит - тот и сверху.

А без "Молодой Гвардии" - какой же вам плюрализм?

Заманчива Розановская интонация как бы прямой речи, ни к чему не обязывающей говорящего. И странный выходит пасьянс: можно разложить так, можно - этак. Способ расклада на конечный результат все равно не влияет, он получается как-то без нас. Но попробовать - отчего же нет? Давайте вместе, читатель, и если передерживаю - ловите меня за руку при случае.

Повальное тяготение к эссеистике. Это все-таки не совсем мода. Или не только. Попытка формы быть адекватной времени.

Жанр. Всегда на грани (или за ней) пародии.

Роняет писатель мысль, потом другую - как птичка на лету - они застывают в словах, получаются "Камушки" (как у Солоухина), или "Мгновения" (как у Бондарева), или "Дребезги" какие-нибудь. Вроде и без претензии вовсе.

Кому сейчас нужен поток сознания в потоке информации? Сознание все равно не успевает.

И какие там, к черту, "Опавшие листья"! Такое ощущение, что дерево советской литературы облетает не листьями, а прямо-таки черенками и сучьями... Сучьями черенками.

Вот так и болтается образ повествователя между Розановым и Солоухиным, как цветок в проруби.

Процветает автопародия: "Все впереди", например. Или лирика С.Куняева. Пародисты молчат - "Умри, Денис!.."

Возрождение незаслуженно забытых жанров: плача и заклинания (Белов, Распутин). Недостаток слова искупается избытком праведного гнева, анафемой року, аэробике и прочей западной заразе.

И тащат на себя Солженицына, как одеяло в холодную ночь.

История с плагиатом Рыбакова.

Критическое затишье вокруг Гроссмана и Домбровского.

Литература может быть предметом спора, но не аргументом в нем.

Если бы я умел снимать кино, у меня в первом кадре оказалась бы не лужа (есть такая кинематографическая легенда - по Гоголю), а большая голая задница. Минуты на три - как символ времени, моего к нему отношения и своеобразия текущего момента вообще.

Мне вовсе не хочется молиться на Коротича или Яковлева. Но Бондаренко противнее.

Ностальгия по прошлому представлению: как будто бы есть некая слепая и жестокая сила, управляющая жизнью.

Можно называть ее - Фатум, можно - Судьба, можно - большевики...

Но удобно, потому что в мелочи она не вмешивается.

Валерия Попова спросили (недавно была телепередача): а как вам теперь, в условиях гласности и демократии? А он говорит: да все то же, только при этом заставляют делать вид, что ты свободен.

Особая атмосфера самиздата формировалась не только десятками тех, кто писал, и сотнями тех, кто читал. Были еще тысячи тех, кто что-то слышал, кто боялся или отвергал, не читая.

Они тоже создавали климат.

Изменился состав атмосферы.

Прежний "ГУЛАГ" попадал из рук в руки очищенный высоким озоном безусловного доверия друг к другу. Это была чистая литература, не запачканная конъюнктурным интересом.

Застой обеспечивал некоторую автономию искусства, казальскую провинцию кочегарок ("Сумерки" № 1), и отдельные конфликты в приграничной полосе на процесс кристаллизации не влияли.

Сейчас идет растаскивание.

Газеты соревнуются по количеству разоблаченных кооператоров и напуганных начальников средней руки, театры – по количеству голого в единицу времени. А почему все минус да минус? А потому что плюс – настолько понятно, что скучно. И без толку.

Анатомия разочарования. Напечатали Замятина – и ничего не изменилось. И всех напечатал. И ничего не изменится. Только мы, прежде приобщенные, лишились приобщенности, вот и все.

И не ответов искали у Маркса и Гессе, даже не вопросов – иллюзий... Интересная получается игра в бисер с использованием талонов на мыло и стенограммы съезда.

И экология, и экономика – все это лишь производные, химерическая реальность, коллективная наведенная галлюцинация. И уже незачем ждать, пока вымрет поколение, рожденное в рабстве.

А Солнце русской поэзии закатилось уже в половине третьего ударными темпами под стол, где и пребывает.

Все, что у нас сегодня вокруг имеется, основано на логическом парадоксе: "Учение Маркса всеильно, потому что оно верно" (Ленин). Что же еще, кроме того, что есть, можно на таком фундаменте воздвигнуть?

Вопрос "как жить?" (в массе вариантов – как вы–, как прожить?) начисто поглотил остальные, и про кто виноват и что делать как-то не вспоминается, а уж – зачем и по поводу смысла жизни и вовсе неудобно.

Самая важная тема сейчас: как складывалась массовая (домашняя, частная) философия и массовая психология фашизма. (Гроссман?) Это прошлое, которое еще очень может стать настоящим.

Жаль, что термин "национал-социализм" не принято употреблять в новом контексте. Он очень точен. И очень бы пригодился...

Может быть, как "Пятое колесо": их по уху – а они о вечном. Их постановлением обкома и дружным возмущением хорошо организованных трудящихся – а они все глубже, тише, все спокойнее. Эрмитажные сюжеты, забытые имена, ностальгические подробности шестидесятых...

Что-то еще отзывается внутри. На гитарный аккорд, а знакомое имя, чужеватое в типографском варианте, как Веничка в "Трезвости и культуре". Но все реже. Все глуше.

Необходимость самиздата диктуется не соображениями политической ситуации, а потребностями формы. Ахматову издавать можно, но в красном переплете как-то не хочется. А казалось бы, какая разница...

Лестница может вести вверх или вниз, а вот вперед или назад - никак. Почему?

P.S. Объяснение с читателем.

Конечно, статья рассчитана на высококвалифицированного читателя, без труда разгадавшего явные и скрытые цитаты и реминисценции: из А.Новаковского (с. 109), В.Вахтина (с.109), В.Пастернака (с.109), В.Розанова (с.111), М.Булгакова (с.112), А.Гурьянова (с.113) и т.д.



Уважаемая редакция!

Не без радости увидел я в № 4 Вашего журнала имя моего друга, поэта и переводчика с английского Владимира Матиевского, умершего в 1985 году. И тем большей была радость, что это – первая публикация поэта.

Однако радость моя тотчас сменилась недоумением, едва я прочел первое стихотворение.

Поэзия Матиевского читателю неизвестна. И посему публикатору следовало, очевидно, начать подборку если не с лучшего, то уж во всяком случае с достаточно характерного для поэта произведения. Ибо "встречают" все-таки "по одежке". Однако волею если не судеб, то публикатора, первым среди 10 оказалось написанное в пору юности и "на случай" – далеко не лучшее и абсолютно не свойственное "зрелому Матиевскому" стихотворение "Глядишь на солнце, веришь другу". Да и вся подборка, как я убедился в дальнейшем, носит весьма случайный характер; некоторые стихи даны в ранних редакциях ("Август", с.74), а одно из лучших стихотворений "дарить хотелось/не песней этой" и вовсе начинается с... 44-й строки! При этом абсолютно неясно, почему исчезли предыдущие 43?

Конечно, последнее слово за читателем, но, думается, едва ли он на основании такой публикации проявит интерес к Матиевскому, на самом деле – одному из лучших поэтов своего поколения.

Но еще больше был я обескуражен, когда прочитал "послесловие" к стихам, написанное И.Андреевым. Очевидно публикатор во всем полагается на свою память. А она его постоянно подводит, – особенно тогда, когда он касается событий, очевидцем которых не был.

Начнем с того, что – вопреки публикатору – В.Матиевский родился не в 1953, а в 1952 году. И, следовательно, прожил не 32, как пишет И.Андреев, а 33 года.

Далее. Ни в середине 70-х, ни до того, ни позже В.М. не посещал "литературный семинар" (очевидно публикатор имеет в виду "литературное объединение"), руководимый А.С.Кушнером.

Что же касается второго "семинара", упоминаемого автором "Послесловия", то М. действительно в 1975–77 гг. посещал занятия ЛИТО, руководимого С.Д.Давыдовым. Однако – опять-таки вопреки И.Андрееву – ни тот, ни другой "семинары" отнюдь не прекращали

своего существования в "те баснословные годы" (расцвет застоя) - но, вполне вероятно, существуют и по сей пору.

Как минимум, спорными кажутся и некоторые суждения автора статьи относительно поэзии Матиевского; что же касается импрессионистической окраски стихов М., то эта мысль, по-моему, и просто неверна.

И последнее. В "свидетельстве о смерти", выданном родным поэта, в графе "причина смерти" черным по белому выведено: "Хронический гепатит". И, видит Бог, неловко после этого читать в "Послесловии": "Матиевский умер от цирроза печени".

Понимаю, что публикатор руководствовался самыми благими помыслами, но одного этого оказалось мало.

Простите за резкий тон, но дело касается моего друга, большого поэта.

С уважением - Валентин Бобрецов

От редакции:

В одном из ближайших номеров журнала мы предполагаем опубликовать материалы, посвященные жизни и творчеству Владимира Матиевского.

Также приводится полный текст стихотворения Владимира Матиевского "Дарить хотелось..."

. . .

Дарить хотелось
не песней этой,
не той монетой...

Студен мой аванс -
в лесу сосновом
пишу со снов Вам.
Эти сны о Вас
и обо мне...

Нет,
мой бог изложен,
я так несложен,
что душой кривя,
игу и ченья,
ещё - знаменья,
идолов любя.

Как месяц меден,
так день мой беден.
Так мрачна печаль,
как ночь без окон...
Ты о высоком
оставь, дружок,
пей чай!

Луны сильне,
 послыш, дельня,
 дальняя заря...
 А в голове сновали снова
 слова лесного
 птичьего царя.

И встать не силась
 /ледь вы не снились/,
 и проспал обоз
 к любимой почте.
 /На этой почве
 не слышать колес/.

В тех сновиденьях вы были частью
 пейзажа, замка, альбома мод,
 где все детали сводились к счастью,
 почти лишаясь тревожных нот.

На пляже, яхте, траве, спектакле
 вы повывлились, и... добрый знак! -
 полоборота и взгляд: - Не так ли?
 Не так ли было?
 Почти не так...

... Там делит берег голубой
 просторный дом для нас с тобой.
 дургонов ряд заполонил
 солёный путь на ймло милл.

На берегу - как в поварской,
и пахнет зеленью морской.
Приносят волны мокрых стружек,
дань из пластмассовых игрушек.
Плывет презерватив, плывет
картон с клеём "Британский Дюпю"
Столь многим берег орошаем,
что мы довольны урожаем.
Идем, сбивая пыль с обочин,
и каждый чем-то озабочен...

Узнать судьбу. Спросить Сивиллу...
всё поросло бильем, и виллу
купил заезжий дровозек.
И ты - для каждого и всех.





Эта
Жерка
(пу
бликацны)

Куда мы идемъ?

Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы,
театра и искусствъ...

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ И ОТВѢТОВЪ:

Гр. Ф. де-Ла-Бартъ, Ө. Батюшкова, П. Д. Боборыкина, А. Бѣлаго,
Н. Валентинова, Зин. Венгеровой, С. А. Венгерова, проф. Л. Е. Вла-
димірова, А. Водынского, О. Гзовской, А. Горнфельда, Н. Евре-
инова, А. С. Изгоева, А. Измайлова, Ан. Каменскаго, А. Кизветтера,
проф. М. М. Ковалевскаго, П. Когана, Ө. Кокошкина, С. Котля-
ревскаго, К. Кочаровскаго, П. Кузнецова, Б. Лазаревскаго,
С. Маковскаго, П. Малянтовича, Вс. Мейерхольда, В. Миліоти,
Н. Морозова, проф. П. Новгородцева, проф. Ив. Озерова, А. Ре-
мизова, Ө. И. Родичева, М. Рубинштейна, прив.-доц. Ө. Рыбакова,
М. Сарьянъ, В. Сѣрошевскаго, П. Уткина, Д. Философова,
К. Эрберга и А. И. Южина (Кн. Сумбатова).

Изд. „ЗАРЯ“.

МОСКВА.—1910.

Цзъ Предисловіе къ нашѣму сборнику.

Никогда такой разногласицы не было въ русскомъ обществѣ, какъ теперь. Самыя противоположныя теченія мысли, ученія, направленія переплелись одно съ другимъ, не приводя кочующей мысли русскаго интеллигента къ опредѣленному выводу, къ какому-нибудь удовлетворяющему помыслу его исканій, — его мучительныхъ исканій, — исходу.

Старыя пути всѣ исхожены, отвѣты на роковые запросы духа, на страстныя алканія ума, сомнѣвающегося въ себѣ самомъ, не найдены, и онъ жаждетъ новыхъ дорогъ и, набредая то на ту, то на эту, ударяется въ тупикъ. Что же ему дѣлать? Куда идти? „Вороти назадъ! Держи около!“ — слышится ему, колеблющемуся, чей-то нашептывающій доброжелательный совѣтъ.

Но куда „около“? И какъ назадъ? И во имя чего? И что изъ этого выйдетъ? Онъ не знаетъ, онъ не догадывается, — и вотъ корень страданій его мысли и новыхъ, все новыхъ исканій, приводящихъ его невѣдомо куда, зачастую въ дикія, непролазныя дебри мысли и дерзаній.

А тутъ вокругъ него царствуетъ истинное Вавилонское столпотвореніе непонимающихъ другъ друга пророковъ и новыхъ вѣроучителей, зовущихъ все ищущее къ себѣ, каждый клянясь, что та вождѣнная истина, ради открытія которой всѣ они идутъ на добровольныя терзанія пытливаго духа, — эта истина, будто бы въ ихъ рукахъ, будто они,

только они, обладают ею и притомъ во всемъ совершенствѣ.

Что же выйдетъ изъ всѣхъ этихъ путей небывалой разногласицы, свидѣтельствующей о небываломъ кризисѣ русской общественной мысли, — кризисѣ, изъ котораго наша интеллигенція должна выйти или побѣдительницей, или побѣжденной, сраженной незнаніемъ, неумѣніемъ выбратъся на прямую и опредѣленную дорогу.

Возобладаетъ ли изъ всѣхъ этихъ разнородныхъ теченій одно какое-нибудь и поведетъ русское общество по своему руслу, къ своему берегу, или найдется въ концѣ-концовъ равнодѣйствующая линія, которая и приведетъ насъ къ вождѣльному концу? „Иль, судебъ повинуюсь закону“, намъ не выбратъся изъ этихъ сыр-боръ дремучихъ лѣсовъ, и ждетъ насъ духовная смерть, которой и подвергнемся мы, не расцвѣтши, отцвѣтши въ такое короткое время нашего всего какихъ-нибудь двухсотлѣтняго существованія?

Суждено ли намъ и впредь, отъ вѣка и до вѣка жить чужимъ умомъ, идя неизмѣнно въ хвостѣ западной мысли, или изъ всѣхъ этихъ броженій мысли, отбоя и прибоя кочующихъ дерзновеній мы доберемся до своихъ собственныхъ путей, найдемъ всепокрывающіе синтезы и единую, обхватывающую все и вся мысль?

Сольются ли всѣ ручьи въ дивномъ русскомъ всечеловѣческомъ морѣ, оно-ль изсякнетъ, уступивъ мѣсто общеевропейскому, общечеловѣческому пути мысли, знанія и міросозерцанія?

Вотъ вопросы, которые мучать тамъ, гдѣ казался живую, всякаго наблюдателя, приглянь. Тамъ, гдѣ казался областямъ жизни, въ которыхъ мы наткнулись на копытливая мысль, намъ рядъ убѣгающихъ цѣлей, дальняя цѣль оказалась лодное, холодное зеркало; дальняя цѣль оказалась рывавшая наше стремленіе къ дальнему тенденціозная стѣна разлетѣлась въ туманомъ; оттуда брызнулъ свѣтъ золотого земного, въ земномъ небеснаго пути.

... /

А. БѢЛЫЙ

Куда мы идемъ?

Слышу этотъ вопросъ, и невольно въ памяти выплываетъ споръ, что у Куприна въ „Мелюзгѣ“ ведутъ учитель и фельдшеръ.

Учитель настаиваетъ:

„У русскаго народа нѣтъ исторіи. Исторія есть у царей, патріарховъ, у дворянъ... даже у мѣщанъ, если хотите знать. Исторія что подразумѣваетъ? Постоянное развитіе или паденіе, смѣну явленій? А нашъ народъ, какимъ былъ во время Владимира Краснаго Солнышка, такимъ остался и по сіе время“...

Пессимистамъ очень нравятся эти слова. Потому-то на вопросъ „куда мы идемъ?“ они охотно отвѣчаютъ: никуда не идемъ, топчемся на мѣстѣ, съ великой протраціей взирая на разбитое корыто былыхъ надеждъ...

Находятся даже оберъ-пессимисты, которые полагаютъ, что за послѣдніе годы ничто не измѣнилось: историческій возъ стоитъ не дальше того положенія, что занималъ онъ въ 1902 г.

Поэтому:

— пусть исторія начинается сначала, рассказываетъ сказку про бѣлаго бычка!

Громадная, по моему мнѣнію, ошибка полагать, что „игра была въ пустую“ и что въ жизни російской нѣтъ глубочайшихъ измѣненій.

Что исторія не оправдала надеждъ на объемъ и

скорость установленія желательныхъ измѣненій,— это безспорно, но много ли шансовъ и было за эти надежды?

Предъ чѣмъ мы стоимъ сейчасъ?

На мой взглядъ—предъ длительной эпохой законодательной вермишели, медленнаго штопанія общественной ткани, маленькихъ реформъ и неяркой постепенности.

Время, подобное тому, что за „пьянымъ 48-мъ годомъ“ переживала Германія, переживала Австрія...

Буря покачнула старый укладъ, сдвигъ произошелъ, но новыя формы, не успѣли, не могли еще отложиться...

И мы стоимъ предъ сѣрой, неяркой, тяжелой эпохой отливки новыхъ буржуазныхъ формъ жизни изъ группировки, соединенія, уничтоженія и отстраненія различныхъ политическихъ и экономическихъ элементовъ.

Тотъ, кто мыслить, что есть другія, яркія перспективы, тотъ забываетъ, что для ихъ осуществленія нѣтъ движущихъ силъ развитія. Прежняя комбинація общественныхъ силъ отошла въ прошлое и невозвращаема. Что же дѣлать?

Въ строеніи теперь откладываемыхъ формъ жизни *обязательно* принять посильное участіе. Отъ того, какъ отложатся эти формы жизни и какой онѣ примутъ характеръ, зависитъ чрезвычайно многое.

Но это требуетъ особой работы, для возможности которой необходимъ цѣлый процессъ психологическаго перерожденія. Русская интеллигенція и стоитъ предъ задачей такого самоперевоспитанія. Ей надлежитъ ампутировать у себя рядъ элементовъ своего идейно-психическаго багажа и съ прежнимъ идеализмомъ приняться за *новую* общественную работу.

Н. Валентиновъ.

Бесѣда^ы съ С. А. Венгеровымъ.

— Какъ вы относитесь къ современнымъ религіознымъ исканіямъ?

— Въ основѣ всѣхъ новѣйшихъ религіозныхъ исканій, вѣрнѣе—писаній, лежитъ неискренность. Ищутъ они искренно, но когда говорятъ, что вѣрятъ въ Бога, котораго они пишутъ съ большой буквы, они играютъ словами. Напротивъ, настоящая религіозность часто бываетъ именно у тѣхъ, которые себя афишируютъ какъ невѣрующіе. Настоящая религіозность—это живо сознанныя связь съ будущимъ.

— Что представляетъ собой вновь возникшій націонализмъ?

— Что касается націонализма,—нельзя *стараться* быть національнымъ; словесныя стремленія быть національнымъ — смѣшны. Национальныя черты проявляются произвольно. Мы уже теперь имѣемъ много самобытнаго, переработавъ по-своему вліянія міровой культуры. И, пріобщаясь къ этой культурѣ, мы будемъ все болѣе вліять на нее, привнося наши оригинальныя черты. Но стараться быть національнымъ, дѣлать изъ этого программу нельзя. Самой своей численностью Россія завоюетъ себѣ самое выдающееся мѣсто среди народовъ міра. Занимая половину Европы статистически, но не культурно, Россія еще 20 лѣтъ тому

назадъ была *quantitée negligeeable*. Но съ ростомъ культуры она уже теперь заставляетъ все болѣе считаться съ собой и подчиняетъ себѣ болѣе слабыя или малочисленные народы. Однако это культурное завоеваніе не имѣетъ ничего общаго съ идеалами русскаго империализма, который въ настоящее время является плодомъ политической реакціи.

Богъ или боженька?

Тѣ идейныя движенія, которыя разворачиваются передъ нами въ современной русской литературѣ, въ журналистикѣ, несомнѣнно, имѣють глубокія причины въ процессѣ самой жизни текущаго историческаго момента. Съ увѣренностью можно сказать, что совершается перевалъ въ новый мѣръ чувствъ и настроеній. Не только интеллигенція, но и массы переходятъ съ утоптаныхъ и гладкихъ путей политическаго мышленія на новыя культурныя дороги. Нѣтъ уже прежней вѣры въ папацеи гражданственныхъ символовъ. Даже среднимъ человѣкомъ овладѣла потребность въ новыхъ духовныхъ святыняхъ и новыхъ логическихъ санкціяхъ для тѣхъ самыхъ жизненныхъ задачъ, которыя такъ просто, казалось еще недавно, разрѣшались при помощи нехитрой механики матеріализма въ западно-европейскихъ его образцахъ и отечественныхъ его видоизмѣненіяхъ. Это инстинктивное тяготѣніе массъ къ болѣе сложнымъ, глубокимъ построеніямъ мысли, этотъ новый паеосъ, который ощущается теперь въ толпѣ, какъ свѣжая струя новой внутренней жизни, должны быть признаны явленіемъ въ высшей степени значительнымъ. Идеи, которыя прежде были достояніемъ только избранныхъ натуръ, можно сказать, уже всосались въ почву народной жизни и,

оплодотворивъ ее новыми волевыми импульсами, стали выражаться уже въ повседневныхъ подробностяхъ живого современнаго быта. И вотъ въ этомъ-то медленномъ и органическомъ преобразеніи самой жизни, всего ея механизма, всѣхъ¹ главныхъ рычаговъ ея матеріальной культуры, въ этой еще смутной музыкѣ новыхъ стремленій и новаго вкуса, въ этомъ дѣйствительномъ раствореніи старой плоти въ потокахъ новыхъ идей и лежитъ вся будущая сила надвигающагося историческаго этапа. Масса не говоритъ о Богѣ, но она проявляетъ этого рождающагося Бога каждымъ движеніемъ своимъ въ сторону отъ прежнихъ идеологическихъ путей. Она еще не разъ будетъ биться и лить кровь за разные политическіе идеалы, но жертвы эти будутъ приноситься подъ знакомъ нныхъ вѣрваній. Будетъ совершаться прежняя протестантски завоевательная работа, но только во имя другихъ, идеальныхъ цѣлей.

Переходя къ русской литературѣ, приходится сказать, что это религиозное движеніе массъ получило въ ней только искаженное и тусклое отраженіе. Тамъ изъ почвы пробиваются повые побѣги духа, тамъ живое чувство свободно стремится къ небу. Здѣсь, въ литературѣ, ни естества, ни почвы: одна пестроцвѣтная мозаика новыхъ пышныхъ словъ, надъ замыслотымъ, совершенно произвольнымъ рисункомъ которыхъ тщетно ломають себѣ головы любители новой мысли, новаго искусства. Одна сплошная компиляція, безъ какихъ-либо признаковъ самостоятельнаго умственнаго творчества. Слѣпая страсть къ компиляціямъ вообще проходитъ чрезъ всю русскую, наиболѣе вліятельную философскую литературу. Грустно сказать, что нѣтъ въ новѣйшей исторіи Европы ни одного крупнаго имени, вокругъ котораго въ Россіи, именно среди подвижныхъ и почти революціонныхъ ея элементовъ, не собирались бы кружки ярыхъ послѣ-

дователей съ разграфленными программами, въ которыхъ послѣднее слово западно-европейской философіи смѣло и подчасъ довольно остроумно приспособляется къ боевымъ требованіямъ минуты. Такимъ образомъ, мы въ давно пережитомъ литературномъ этапѣ имѣли Гегеля въ совершенно несоотвѣтствующей, хотя и вполне вдохновенной транскрипціи Бѣлинскаго. Въ недавно пережитомъ этапѣ мы имѣли Спенсера, этого непосредственнаго преемника Локка, Юма и Беркли, безъ всякой пѣтетности поставленнаго вверхъ ногами въ критическихъ статьяхъ Михайловскаго. Чтобы перейти къ болѣе близкимъ и болѣе забавнымъ явленіямъ нашихъ дней,—мы имѣемъ теперь Авенаріуса и Маха въ социаль-демократическихъ попури и легкихъ аранжировкахъ такихъ мыслителей, какъ Луначарскій, Богдановъ и друг. И все это въ высшей степени характерно для той части русской интеллигенціи, которая всегда питала сердечную слабость и привязанность къ философіи и ея моднымъ представителямъ!

Но если русскимъ философскимъ компиляціямъ нельзя отказать въ нѣкоторомъ, хотя и чисто внѣшнемъ, блескѣ изложенія и искусномъ построеніи, то новый родъ компиляціи, широко разлившейся въ литературѣ, уже совершенно лишенъ всякой привлекательности. Я говорю о компиляціи на психологическія и религіозныя темы. Я говорю о тѣхъ, которые всенародно корчатся въ мукахъ рожденія новаго человѣка, либо экстазнаго, въ стилѣ ницшевскаго Діониса, либо начитаннаго въ политико-экономическихъ книгахъ и въ то же время страстно трепещущаго въ молніеносныхъ откровеніяхъ Апокалипсиса. Русская революція выставила поистинѣ величавое требованіе социализаціи земли. Компиляторы новыхъ религіозныхъ идей и людей требуютъ чего-то, не внушающаго ни уваженія, ни довѣрія: социализаціи неба! Тутъ-то и прорывается весь безталанный характеръ искусственнаго сопряженія

величинъ, совершенно между собою несопряжимыхъ, присущій этой всеискажающей всероссійской компиляціи. Жизнь ставитъ опредѣленное, исторически назрѣвшее требованіе, и то, что требованіе это должно быть исполнено, воплощено, наперекоръ всѣмъ противодѣйствіямъ среды и быта, вопреки силъ инерціи застывшей психологіи, составляетъ ея трагическую задачу. Тутъ точка приложенія для истинной революціи. Тутъ именно, изъ этой точки долженъ вылиться обновительный свѣтъ новаго перелома, народнаго движенія. Тутъ крикъ исторіи, зовущій на жертвы и подвиги. Тутъ тѣ основные камни, на которыхъ строится все зданіе жизни: тѣ чувства, тѣ мысли, даже тѣ слова, которыми, дѣйствительно, безъ волненія внимать невозможно. И вотъ приходитъ компиляторъ, который перековываетъ истинное золото народной жизни въ случайно схваченныя формы, рожденныя въ огнѣ иныхъ страданій и сіяющія свѣтомъ иныхъ прозрѣній. Представьте себѣ вагнеровскаго Зигфрида, облаченнаго въ костюмъ Робеспьера или Марата. Можетъ быть, то, что есть въ этой фигурѣ чисто человѣческаго, не потерялось бы окончательно, но должно сказать съ увѣренностью что впечатлѣніе отъ такого переоблаченія получилось бы самое карикатурное. Такое именно карикатурное явленіе въ области человѣческой мысли представляетъ собою современная соціализація неба, или Христа, въ писаніяхъ нашихъ новѣйшихъ религіозно-философскихъ публицистовъ. Въ идеологическомъ христіанствѣ, какъ его понималъ, напимѣръ, такой геній ума и знаній, какъ Оригенъ, новый міръ рождается въ процессѣ самовыявленія внутреннихъ силъ человѣка, его духовно-божественной сущности. Въ соціализмѣ рожденіе новаго человѣка обусловлено великою механикой сочетанія внѣшнихъ силъ, по сравненію съ которыми все внутреннее, психологическое и идеальное есть только результатъ столкновеній

и противобореній внѣшнихъ факторовъ. Тутъ полная догматика внѣшняго міра, тамъ цѣльная вѣра въ животворящую силу міра внутренняго. И вотъ почему эти двѣ концепціи мысли совершенно несоединимы: одинъ и тотъ же глазъ не можетъ быть обращенъ одновременно и вверхъ, и внизъ, и къ міру исключительно матеріальному, и къ міру духовному. Не къ социализаціи Христа, не къ арифметическому сложенію двухъ правдъ мы должны стремиться, не о постройкѣ инженернаго сооруженія, которое должно соединить два края пропасти, созданной ошибками человѣческаго мышленія, мы должны заботиться, а думать единственно о томъ, чтобы путемъ внутренняго усилія интеллектуальнаго созерцанія найти ту единую правду, изъ которой органически растетъ цѣльная жизнь, духовно-космическая жизнь, не знающая никакихъ пропастей между духомъ и природою, между волей и Богомъ, между человѣкомъ и Богомъ. Отъ этихъ инженерныхъ сооруженій надо отойти какъ можно скорѣе, потому что всѣ эти хрупкія и шаткія богостройки могутъ въ одинъ прекрасный день подъ первымъ шкваломъ духовно-космическихъ силъ рухнуть и весьма непріятно ошеломить свободныхъ мыслителей, удобно расположившихся подъ ихъ защитою. То, что создано слабыми компилирующими руками и не несетъ въ себѣ огня истинно-божественнаго духа, обречено съ самаго начала на недолговѣчность и погибель.

На такую же недолговѣчность и погибель, несомнѣнно, осуждены и попытки нашихъ русскихъ пѣнговъ (справедливѣе было бы даже поставить просто единственное число) произвести на свѣтъ по программѣ, предугазанной Ницше, новую расу, оргіастическую, соборно справляющую великое таинство Діониса въ „огнестолпныхъ“ храмахъ славяно-германскаго вдохновенія. На „квадригахъ порыва“, управляемыхъ дер-

зающимъ глашатаемъ чужихъ новыхъ цѣнностей, новое человѣчество должно понестись къ великому эллинскому Діонису. Не къ тому Діонису, которымъ вдохновлялся греческій демось, а къ Діонису, томящемуся на страницахъ „Geburt der Tragödie“, непонятному и искаженному болѣзненно-геніальнымъ Ницше. Вѣдь теперь, въ исторической перспективѣ, уже отчетливо видно, что Діонисъ Ницше былъ для него не больше, чѣмъ тараномъ въ бою съ нѣмецкимъ филистерствомъ, въ борьбѣ за новую трагедію Вагнера. Если еще понятны попытки компилировать Гегеля, который считалъ, и совершенно справедливо, что черезъ него вѣщаетъ вся природа, что философія его есть вмѣстилище универсальнаго духа, то совершенно дикимъ и бездарнымъ является стремленіе компилировать такого страшно индивидуальнаго человѣка, какъ Ницше. Отъ него все исотъемлемо, все есть переживание его личнаго, Я, съ его болѣзненностью, съ его чисто музыкальнымъ даромъ въ передачѣ натисковъ бессознательной, эмоціональной жизни его души, съ этими потоками ослѣпительныхъ парадоксовъ, въ которыхъ геніальныя психологическія прозрѣнія постоянно вспыхиваютъ ослѣпительными зарницами. Компилировать такого человѣка, какъ Ницше! Это свидѣтельствуешь прежде всего о полномъ непониманіи его личности и той художественно-литературной цѣнности, которую представляетъ вся его дѣятельность. А говоря по существу, всѣ такого рода упражненія за счетъ разъясненныхъ и не разъясненныхъ древнихъ боговъ являются нечѣмъ инымъ, какъ желаніемъ втиснуть мягкую, расплывчатую и даже на своихъ верхахъ только безцѣльно-раскидистую славянскую эмоціональность въ гармоничныя волны складокъ прекраснаго эллинскаго хитона. Опять-таки—совершенно компиляторская повадка.

Однако, какъ ни комичною съ внѣшней стороны ка-

жется вся исторія широкой русской компиляціи, въ ней отразилась одна изъ самыхъ существенныхъ особенностей русской природы, и потому весь этотъ вопросъ приобретаетъ тревожный и, быть можетъ, даже трагическій характеръ. Эта особенность—чисто эмоціональное отношеніе къ вопросамъ духа при наружной разсудочности въ толкованіи философскихъ темъ. При нѣкоторомъ педантизмѣ и неуклонной прямолинейности логики у русскаго образованнаго человѣка она, въ сущности, является для него только прислужницей міра его чувствъ. И логика вмѣсто того, чтобы вести его по линіи безконечнаго развитія, приобщать его къ умопостигаемымъ цѣлямъ жизни и настоящей свободѣ духа, фатально замыкается у русскаго интеллигентнаго человѣка въ безнадежный кругъ психологическихъ переживаній. Онъ медленно двигается впередъ, какъ медленно перерождается его душа. Онъ не идетъ за своимъ духомъ, который одинъ только и можетъ перерождать и окрылять человѣческую душу. И вотъ на почвѣ этой-то эмоціональности то религіозное движеніе, о которомъ я говорилъ вначалѣ, становится для насъ загадочнымъ, какъ сфинксъ. Оно, какъ и все въ русской жизни, таятъ въ себѣ великія возможности. Но историческая цѣнность этихъ возможностей, ихъ дѣйственная сила, можетъ быть опредѣлена только при разрѣшеніи слѣдующаго вопроса: что собственно всколыхнуло новую волну русской мысли, элементъ интеллектуальный, стремленіе уйти отъ прежнихъ эмоціональных путей, жажда увидѣть міръ глазами духа, черезъ духъ коснуться, въ трепетѣ и страсти, этого міра? Тогда, при общей талантливости русской природы, при ея тончайшей способности осознать безплотное, при ея чуткой тактильности по отношенію къ нѣжнѣйшимъ движеніямъ человѣческаго сердца—то, что сдѣлало русскую литературу однимъ изъ великихъ явленій

міра,—Россія можетъ явиться настоящимъ Внеземомъ для религіи новаго человѣка, ибо новая религія не можетъ быть нечѣмъ инымъ, какъ духовнымъ опознаніемъ, въ идейномъ энтузіазмѣ, всѣхъ чувственныхъ явленій міра. Тогда Россія сдѣлается родиной новаго Аполлона, этого высшаго символа человѣческой интеллектуальности. Но можно ли съ увѣренностью утверждать, что характеръ новаго движенія, захватившаго много литературныхъ силъ, идетъ отъ высшаго интеллектуальнаго возбужденія къ цѣлостному одухотворенію всѣхъ жизненныхъ воспріятій или же это только новый видъ эмоціональнаго разбѣга и разрухи, новая гоголевская тройка, которая мчится невѣдомо куда. Можетъ ли вообще русская эмоціональность, съ ея почвенно-народными оттѣнками, съ вдохновенной безтолковщиной русской жизни, переродиться въ универсальную духовность царства божьяго на землѣ? Богъ или боженъка?..

А. Волынкій.

Мы переживаемъ моментъ острой реакціи. Старые господствующіе слои (бюрократія и помѣстное дворянство) сильнѣе, чѣмъ думали. Они опять завладѣли своими позиціями. Но творческихъ силъ въ нихъ нѣтъ, они бесплодны. Поэтому сейчасъ происходитъ топтаніе на одномъ мѣстѣ, то съ обостреніемъ, то съ ослабленіемъ злобныхъ вспышекъ господствующихъ классовъ. Такъ будетъ до тѣхъ поръ, пока не соорганизуются въ странѣ дѣйствительно конституціонныя силы, способныя водворить правовой строй и обезпечить могущество государства. Интеллигентныя силы заняты теперь преодолѣніемъ утопизма, окрашеннаго въ социалистическій цвѣтъ. Подъ этимъ утопизмомъ я отнюдь не разумѣю организацію рабочаго класса, хотя бы она и происходила подъ социаль-демократическимъ флагомъ. Рабочій классъ, ставшій на путь реформизма будетъ одной изъ основъ російскаго правового строя. Всѣ современныя идейныя теченія русской мысли могутъ быть въ конечномъ счетѣ сведены или къ защитѣ этого утопизма, считающаго возможнымъ при помощи какихъ бы то ни было средствъ однимъ или нѣсколькими ударами измѣнить основы современнаго гражданскаго общества, или къ борьбѣ съ такимъ утопизмомъ. Существующее православіе слишкомъ тѣсно связано съ господствующимъ политическимъ деспотизмомъ, чтобы оно могло содѣйствовать водворенію въ Россіи правового строя. Съ этой точки

зрѣнія считаю положительными какъ реформаторскія движенія въ самомъ православіи, такъ и объединеніе отколовшихся отъ церкви декадентовъ. При разговорѣ о современныхъ національныхъ теченіяхъ надо прежде всего исключить Царство Польское и Финляндію, гдѣ вопросъ ставится исключительно политически. Но націоналисты, по моему мнѣнію, чужды какимъ бы то ни было ограничительнымъ тенденціямъ. По моему личному мнѣнію, великорусскій элементъ призванъ играть въ Россіи такую же роль, какъ англійскій въ Соединенныхъ Штатахъ.

Формированіе русскихъ національностей не закончилось даже съ этнографической точки зрѣнія, и оно продолжаетъ впитывать въ себя множество разнообразныхъ элементовъ.

А. С. Изгоевъ.

Меня смущаетъ въ „религіозныхъ исканіяхъ современности“ одна психологическая черта -- отсутствіе стыдливости. У російскихъ „мистическихъ мыслителей“, съ Мережковскимъ во главѣ, споръ о Богѣ пріобрѣтаетъ характеръ литературнаго состязанія... Религія въ наши дни — исключительно вопросъ личной совѣсти. Да и всегда было такъ: дѣйственно-религіозное молчаніе, а не разговоры о божественномъ. Вотъ почему я не связываю эволюцію русской общественной мысли съ пресловутымъ нео-христіанскимъ богоискательствомъ. Единственно-возможный путь для нашей духовной культуры — путь европейскаго гуманизма, указанный намъ еще двѣсти лѣтъ назадъ великимъ преобразователемъ Московіи. Русская интеллигенція должна прежде всего научиться мыслить культурно, — тогда только выявится и ея истинно-національный ликъ, тотъ ликъ, который сквозитъ во всемъ подлинномъ искусствѣ нашемъ, — безразлично, развивалось ли оно по образцу Византіи или подъ вліяніемъ Запада. Величайшая національная задача русскаго — сдѣлаться европейцемъ; весь походъ стараго и новаго славянофильства — только „ложно-русская“ иллюзія. И есть полное основаніе думать, что мы на пути къ цѣли, несмотря на безтолковую рознь нашихъ идеологическихъ партій и литературныхъ кружковъ. Не надо быть чрезмѣрнымъ оптимистомъ, чтобы признать именно за современнымъ вѣкомъ высокую степень даровитости. За послѣднія десять лѣтъ русское творчество совершило работу цѣлаго столѣтія. Что касается, въ частности, художественной культуры, то я глубоко убѣжденъ: никогда еще Россія не переживала болѣе плодотворной эпохи. То, что многіе пренебрежительно называютъ кличкой „модернизма“, — признакъ настоящаго роста нашего эстетическаго самосознанія. А это все-таки... главное.

Не умѣю я разсуждать. И всѣ разсужденія дѣдушки Карамзина не направили меня, и статьи изъ газетъ не помогаютъ, развѣ что Балда Балдовичъ,—да гдѣ его нынче отыщешь Балду-то Балдовича, когда все всерьезъ? А потому на вопросъ о Россіи,—какая она такая Россія, чѣмъ живетъ и куда путь держитъ?—по - людски не берусь отвѣтить. Могу только такую завитушку изъ жизни представить въ родѣ притчи.

Случилось однажды, какъ идти Коту-Котофею освободить свою бѣленькую зайку изъ лапъ Лихи Одноглазаго, занесла Котофея вѣтромъ нелегкая въ одинъ изъ старыхъ сѣверныхъ русскихъ городовъ, гдѣ все ужъ по-русскому: и рѣчь русская стараго уклада, и соборъ златоверхій бѣлокаменный и тротуары деревянные, и, хоть ты тресни, толку нигдѣ никакого не добьешься. Котофей не растерялся,—съ Синдбадомъ когда-то моря переплывалъ и не такое видѣлъ. Надо было Коту комнату себѣ нанять, вотъ онъ и пошелъ по городу. Смотрить, домишко стоитъ плохонькій, трухлявый,—всякую минуту пожаръ произойти можетъ,—а въ окнѣ билетикъ приклеенъ: сдается комната. Котофею на-руку, постучалъ. Вышла женщина съ виду такъ себѣ: и молодое въ лицѣ что-то, и старческое,—морщины старушечьи перетягиваютъ жгутикомъ еще не квелую кожу, а глаза не то отъ роду такіе запалые, не то отъ слезъ.

— У васъ, — спрашиваетъ Котофей, — сдается комната?

— Да я ужъ и не знаю, — отвѣчаетъ женщина.

— У кого же мнѣ тутъ справиться?

— Я ужъ и не знаю, — мнется женщина.

— Хозяйка-то дома?

— Да мы сами хозяйка.

— Такъ чего же вы?

— Да мы дикіе.

Долго уговаривался Коть съ хозяйкой, и всякій разъ, какъ дѣло доходило до какого-нибудь окончательнаго рѣшенія, повторялось одно и то же: — „Да мы дикіе“.

Въ концѣ-концовъ занялъ Котофей комнату. Ребятишекъ полно, въ школу бѣгали, а придуть домой и все бывало твердятъ ерунду кокую-то: „зубы, десна крѣпче три и снаружи и внутри, и еще что-то о мылѣ, котораго отродясь не видали, — драные такіе ребятишки, вихрастые, сапатые.“

Тѣснота грязь, клопы, тараканы, — не то, чтобы гнѣзда, а такъ сплошь разсадникъ ихній.

„И какъ это люди живутъ еще и дупца въ нихъ держится?“ — раздумывалъ про-себя Коть, почесываясь.

Хозяина въ домѣ не оказалось: хозяинъ пропалъ. И сколько Котофей не спрашивалъ хозяйку, отвѣтъ одинъ былъ:

— Хозяинъ пропалъ.

— Да куда? Гдѣ?

— Пропалъ.

Разсчитывалъ Коть одну ночь прожить, — ужъ какъ-нибудь протааканить время, да пришлось зазимовать.

Выпадали бѣлые снѣги глубокіе, завалило снѣгомъ окно, свѣту не видать, — темь. Тяжкіе морозы трещать за окномъ. Ни развѣять, ни разместить глубоки сугробы.

Вотъ засвѣтилъ Котофей свою лампочку, присядеть

къ столу, сѣти плететь,—Коть зимой все сѣти плелъ,—примется пѣсни курлыкать, покурлычетъ и перестанетъ.

— Марья Тихоновна, вы бы сказку сказали,—посмотрить Котофей изъ-подъ очковъ на хозяйку глазомъ, а хозяйка какъ вошла въ комнату, какъ стала у теплой печки, такъ и стоитъ молчкомъ: некому ряздать тоску,—ей тоже не весело.

Коть и разъ позоветъ, и въ другой позоветъ. Только на третій разъ сказка начинается, и ужъ такія сказки,—не переслушаешь.

Клопъ тебя кусаетъ, блоха точетъ, шебуршатъ по стѣнѣ тараканы,—ничего ты не чувствуешь, ничего ты не слышишь: летишь на коврѣ-самолетѣ подъ самымъ облакомъ за живой и мертвой водой.

Это ли вѣтеръ съ моря-океана поднялся, ударилъ, подхватилъ, понесъ голосъ далеко по всей Руси; это ли въ большой пасхальный ударили колоколъ и звонъ, перекаtywаясь, разбѣжался по всей Руси? Тоска пріотхлынула, воспламенилось сердце,—прошелъ звонъ въ сырую землю. Она, земля,—твоя мать вѣщая голубица. А тамъ стелятся зеленія вѣтви, на вѣтвяхъ макъ-двѣты. На бѣломъ конѣ черезъ лѣса по полямъ ѣдетъ Григорій Свѣтло-Храбрый. Вотъ тебѣ живая вода и мертвая, и ужъ не Марья Тихоновна,—Василиса Премудрая стала, царевна,—глядитъ на Кота.

Такъ ночь пройдетъ. Мало ночи.

Такъ за зиму Котофей ни одной сѣти толкомъ не сплелъ, все за сказками перепуталъ и узловъ насадилъ, гдѣ не надо. Охотникъ былъ до сказокъ Коть.

А пришла весна, встрѣтилъ Котофей съ хозяйкой Пасху, разговорѣлся, и понесло Кота въ другія страны, не арабскія, не турецкія, а совсѣмъ въ другія—заморскія. И я тамъ былъ, медъ, пиво пилъ, по усамъ текло, а въ ротъ не попало.

Алексѣй Ремизовъ.

Куда мы идемъ, какое будущее предстоитъ политическому развитію Россіи, какова будетъ дальнѣйшая общественная роль нашей интеллигенціи,—на всѣ эти и имъ подобные вопросы отвѣчать и очень легко, и очень трудно. И это соединеніе легкости съ трудностью объясняется тѣмъ, что въ историческомъ развитіи народной жизни однородные и одинаковые по существу процессы могутъ принимать подъ воздѣйствіемъ мѣстныхъ и временныхъ условій тысячи самыхъ разнообразныхъ внѣшнихъ выраженій. Одно не подлежитъ сомнѣнію: Россія переживала и будетъ переживать тѣ же самыя стадіи политическаго и общественнаго развитія, чрезъ которыя проходятъ и всѣ другія страны европейской культуры. Старыя сказки о томъ, что Россія есть страна политической магіи, что ей суждено поразить міръ какими-то волшебными, т.-е. нигдѣ никогда не виданными превращеніями обычнаго хода исторической эволюціи, что у нея есть „своя особенная статья“, которую невозможно измѣрить аршиномъ сравнительно-историческаго изученія, — эти старыя сказки утратили прежнюю силу своего обаянія. И въ этомъ—залогъ нашихъ надеждъ на то, что Россія дождется того дня, когда ей можно будетъ сказать безъ всякихъ оговорокъ: „Я—Европа и ничто европейское мнѣ не чуждо“. И на вопросъ о нашемъ будущемъ съ этой точки зрѣнія легко отвѣтить: наше

будущее неизбежно сведется къ европеизаціи всѣхъ сторонъ нашей культуры.

Но въ какихъ конкретныхъ формахъ выразятся наши поступательные шаги по этому пути, каковы будутъ тѣ конкретные усилія и успѣхи, разочарованія и страданія, бѣдствія и радости, паденія и триумфы, которые составятъ текущее содержаніе этого общаго процесса,—кто отвѣтитъ на это?

Меньше всего слѣдуетъ ждать отвѣта на этотъ послѣдній вопросъ отъ историка. Ибо историкъ прежде всего выносить изъ своей науки ясное представленіе о границахъ человѣческаго предвидѣнія. Чѣмъ тверже намѣчаетъ историческая наука основныя очертанія и общее направленіе потока народной жизни, тѣмъ громче предупреждаетъ она о томъ, какъ разнообразны и многоцвѣтны бываютъ составляющія этотъ потокъ отдѣльныя брызги.

А. Низеветтеръ.

"ПОТОМОК ГАМЛЕТА"
/Сёрен Кьеркегор /1813-1855/
Афоризмы. Фрагменты дневников/

Д И А Ч А Л М А Т А *

Что такое поэт? Несчастный человек, в чьем сердце скрыта глубокая скорбь, но чьи уста устроены так, что, когда с них срывается вздох и вопль, то они звучат, как прекрасная музыка. Его участь — как участь несчастных, что медленно на медленном огне сгорали в быке Фаларида, но чьи вопли не могли достигнуть слуха тирана и повергнуть его в ужас, так как они звучали ему как сладостная музыка. И люди толпятся вокруг поэта и говорят ему: "пой тотчас же снова", т.е., пусть новые страдания терзают твою душу и пусть твои уста останутся, как прежде, ибо вопль только испугал бы нас, а музыка сладостна. И являются критики, и говорят: это правильно, так и должно быть по законам эстетики. Теперь понятно, что критик — похож на поэта, как две капли воды, только у него нет страдания в сердце, нет музыки на устах. Поэтому я хочу лучше пасти свиней на Амагере и быть понятным свиньями, чем быть поэтом и быть непонятым людьми.

х х х

Люди нелепы. Они никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которой у них нет; у них есть свобода мысли, они же требуют свободы выражения.

х х х

Я ничего не хочу. Я не хочу ездить верхом, ибо это — слишком сильное движение; не хочу ходить, это слишком утомительно; не хочу прилечь, потому что я или должен остаться лежать, а этого я не хочу, или должен снова встать, а этого я тоже не хочу.
Сумма суммарум: я ничего не хочу.

х х х

Как известно, есть насекомые, которые умирают в миг оплодотворения; то же и со всякой радостью, — высший и наиболее полный миг наслаждения в жизни сопровождается смертью.

х х х

Сверх моих остальных многочисленных знакомых у меня есть

* Печ. по: "Северные сборники" изд. "Шиповник" кн. 4
1908 /вступительная статья Г. Рейхдинга/

еще один близкий друг — моя тоска; среди моей радости, среди моего труда кивает он мне, отзывает меня в сторону, пусть телесно я и остаюсь, где был. «Моя тоска — самая верная тобоеница, какую я знал, что же тогда удивительного, что я люблю взаимно.

х х х

Из всех смешных вещей наиболее, на мой взгляд, смешно торопиться на свете, быть человеком, который спешит со своей оадой и спешит со своим делом. Поэтому, когда я вижу, как в реальный момент мгновение на нос такому деловитому человеку садится муха, или как его забрызгала карета, проносящаяся мимо него еще с большею быстротой, или как мостик ломается под ним, или падает черепица и убивает его, то я смеюсь от всей души. Что же тут смешного? Чего достигают эти лихорадочные цельцы? Разве с ними не то же, что с той женщиной, которая во время пожара в доме, в замешательстве, спасла щипцы? Что же больше они могут спасти среди великого пожара жизни?

х х х

Пусть другие жалуются на плохие времена; я жалуюсь на то, что время ничтожно, потому что оно лишено страсти. Людские мысли тонки и непрочны, как кружева, а сами люди жалки, как кружевницы. Помыслив их сердца слишком ничтожны, чтобы быть греховными. Иному червяку, может быть, показалось бы грехом сделать подобные помыслы, но не человеку, созданному по образу и подобию Божьему. Их веселье степенно и вяло, их страсти сонливы; эти души торгашей исполняют свои обязанности, но как евреи, позволяют себе отсекать от монеты маленький кусочек, они думают, что, пусть Господь и ведет строгую отчетность, все же можно безнаказанно обманывать Его в малом. Презрение им! Поэтому моя душа всегда обращается назад к Ветхому Завету и Шекспиру. Там чувствуешь, что это люди говорят, там ненавидят, там любят, убивают своего врага, проклинают его потомство на все поколения, там грешат.

х х х

Человеческая важность все еще признается в природе, потому что, когда хотят отогнать птиц от деревьев, то сажают что-нибудь похожее на человека; и даже такого отдаленного сходства с человеком, как у пугала, достаточно, чтобы внушить уважение.

х х х

Лучшее доказательство убежденности существования — то, которое почерпнется из созерцания его великолепия.

х х х

Малкое создание! Напрасно ты румянишь, как старая блудница, свое морщинистое лицо, напрасно гремишь погремушками; ты мне постыл; ведь это — то же самое, *ДЕМ РЕК ДЕМ*. Никакой перемены, вечное вскипание вновь. Приди же, сон и смерть, ты ничего не обещаешь, ты сдерживаешь всё.

х х х

То, что философы говорят о действительности, часто столь же обманчиво, как у старьевщика надпись на вывеске: Здесь катают белье. Если б кто принял к нему катать свое белье, то он ошибся бы, потому что вывеска просто продается.

х х х

Для меня нет ничего опаснее воспоминания. Как только я стал вспоминать какие-нибудь отношения в жизни; то сами отношения прекратились. Говорят, что разлука помогает оживить любовь. Может быть, это и справедливо, но она оживает чисто поэтическим образом. Жить воспоминанием — самая совершенная жизнь, которая только мыслима, воспоминание насыщает щедрее всякой действительности, и у него есть несомненность, которой нет ни у одной действительности. Вспоминаемые митейские обстоятельства уже перешли в вечность и не имеют больше никакого временного значения.

х х х

Наслаждение собственно заключается не в том, что вкушают, а в представлении. Будь у меня на посылках некий услужливый дух, который на моё желание получить стакан воды, принес бы мне в кубке сладостную смесь из самых драгоценных вин на свете, то я отстранил бы его, пока он не понял бы, что наслаждение не в том, что я вкушаю, а в том, чтобы получить желанное.

х х х

Познания истины я, может быть, достиг, блаженства, конечно, — нет. Что же мне делать? Действовать в мире, отвечают люди. Тогда мне пришлось бы передать миру мою скорбь, внести одной лептой больше в доказательство того, как все печально и ничтожно, может быть, открыть новое пятно в человеческой жизни, кото-

рое до сих пор оставалось незамеченным? Тогда я мог бы позвать редкую награду стать знаменитостью, подобно человеку, открывшему пятна на Юпитере. Но я предпочитаю молчать.

х х х

Как скука чудовищна – чудовищно скучна; я не знаю более сильного выражения, более меткого, потому что только равное познается равным. Если б нашлось выражение выше, сильнее, то все же еще было бы движение. Я же лежу, распростертый, без действия, единственное, что я вижу, – пустота, единственное, чем я живу, – пустота, единственное, в чем я движусь, – пустота. Я даже боли не чувствую. Коршун всё же беспрерывно терзал печень Прометей; все же была убыль, пусть и однообразная. Само страдание утратило свою отраду для меня. Если б мне посулили всё великолепие мира и всё горе мира, то я даже не повернулся бы на другой бок, ни для того, чтобы тянуться навстречу, ни для того, чтобы бежать. Я умираю. И что же могло бы оживить меня? Да, если б я увидел верность, выдержавшую всякое испытание, – воодушевление, вынесшее всё, – веру, сдвинувшую горы, если б я, ощутил мысль, связавшую конечное с бесконечным!

Но язвительное сомнение моей души разъедает всё. Моя душа – как мертвое море, через которое не может перелететь ни одна птица; на половине пути, усталая, она падает вниз, в смерть и уничтожение.

х х х

В этом моё несчастье: подле меня вечно шествует Ангел Смерти, и не двери избранных я окропляю кровью в знак того, что он должен пройти мимо них, нет, именно в их двери он и входит, – потому что только любовь воспоминания счастлива.

х х х

Вино больше не веселит моего сердца; мало его – делает меня грустным, много – унылым. Моя душа утомлена и бессильна, тщетно я вонзаю шпоры веселья в её бока, она больше не может, она больше не взвивается царственным прыжком. Я утратил всякую иллюзию. Тщетно стараюсь я отлечься бесконечности радости, она не может вознести меня, или, вернее, я сам не могу возвестись. Раньше, стоило ей только кивнуть мне, и я шел легко, и бодро, и радостно. Когда я медленно проезжал через лес, то я точно щелк; ког-

да же теперь вспененный конь почти выбивается из сил, то мне кажется, что я не двигаюсь с места. Одинок я, таким я был всегда; оставленный, не людьми, это не терзало бы меня, но счастливыми гримасами радости, что огромной толпой окружали меня, встречали всюду знакомых, всюду оказывали благоволение ко мне. Как опьянени й человек собирает вокруг себя радостную толпу, так и они толпились вокруг меня, эльфы радости, и к ним относилась моя улыбка. Моя душа утратила возможность. Если бы мне нужно было желать чего-нибудь, то я не стал бы желать себе ни богатства, ни власти, но лишь страсти возможности, того глаза, что, вечно юный, вечно озаренный, всюду видит возможность. Наслаждение обманывает, возможность — нет. И какое вино так пенится, какое столь же благовонно, какое так опьяняет!

х х х

Моя скорбь — мой рыцарский замок, что, как огромное гнездо, ютится высоко на вершине гор, в облаках; он неприступен. С него я мчусь вниз, в действительность, и хватаю свою добычу; но я не остаюсь в долине, я уношу свою добычу домой; и эта добыча — образ, который я влетаю в ковры моего замка. Там я живу, как умерший. Всё, что там пережито, я погружаю в купель забвения для вечности воспоминания. Все конечное и случайное забыто и изъято. В раздумье, я сижу там, как седовласый старец, и объясняю образы, тихим голосом, почти шепотом, и подле меня сидит дитя и слушает, внимательно запоминает всё, что я рассказываю.

х х х

Солнце так волшебное и так сладостно льет свет в мою комнату, окно раскрыто; на улице тихо. Это — воскресный вечер. Я отчетливо слышу жаворонка, он поет свою песню за окном, в одном из соседних садов, перед оконцем, где живет красивая девушка; с отдаленной улицы доносится до меня голос продавца крестов, воздух — такой теплый, но город точно вымер. — И вот мне вспоминается моя юность и моя первая любовь — тогда я тосковал, теперь я тоскую только по моей первой тоске. Что такое юность? Сон. Что такое любовь? Содержание сна.

пер. Ю. Балтрушайтиса.

ИЗ ДНЕВНИКОВ
/1853-1855/

Я счастлив только когда творю. Тогда и забываю все митейские страдания и неприятности, всецело ухожу в свои мысли. Стоит же мне сделать перерыв хоть на несколько дней, и я болен, угнетен душой, голова моя тяжелеет. Чем объяснить такое неудержимое влечение к работе мысли?

х х х

"Толпа" – вот главный сюжет моей полемики. Тут я ученик Сократа. Я хочу отрезвить людей, хочу обратить их внимание на самих себя, на свою жизнь и предостеречь их от напрасной гибели. Баричи-писатели считают вполне естественным, что бездна человеческих жизней пропадает задаром; они пальцем не пошевелят, чтобы предотвратить такое зло, как будто бы все это множество людей для них не существует вовсе.

Не хочу подражать им. Хочу открыть толпе глаза и, если она не поймет меня добром, заставлю насильно. Надо, однако, понять меня. Я не хочу бить толпу (одиночка не может бить массу), нет, я хочу заставить ее бить меня. Вот в каком смысле только я нищу в ход насилие. Раз толпа примется бить меня, внимание ее неизбежно должно пробудиться. Еще лучше, если она убьет меня – тогда внимание ее сосредоточится всецело, а стало быть, и победа моя будет полной. В этом отношении я бедовый диалектик. И теперь уже многие говорят: что вам за дело до Киркегора. Вот вы ему зададим! Но ведь говорить, что им нет до меня дела и в то же время стремиться зачать мне – означает уже известную зависимость от меня.

Люди, собственно еще не так испорчены, чтобы прочно, с намерением делать зло. Обыкновенно они бывают ослеплены и сами не ведают, что творят. Все же дело в том, чтобы так или иначе вызвать их на решительные действия. Ведь то же бывает и с детьми. Часто упрямясь в мелочах, но не доходя до открытого осуждения отца, ребенок может постепенно незаметно испортиться вконец. Если же отец вовремя примет меры, вызовет ребенка на крупное столкновение – ребенок на пути к спасению. Возмущение "толпы" потому и имеет такую силу, что ей уступают дорогу, и она бес-

сознательно идет все дальше и дальше, сама не сознавая, что делает. Если же ей случится убить человека, она приостанавливается, обращает внимание на содеянное, и тогда ей недолго опомниться.

Реформатор, ведущий борьбу с сильным мира сего — папой, императором, словом, с отдельным человеком, должен добиваться падения этого сильного, но идущий против бессмысленной толпы должен добиваться собственного падения!

х х х

Какая страшная сатира, какая эпитафия над нашим китайским укладом: единственное применение уединения в наше время — это наказание тюремным заключением!

Какая огромная разница между стариной и современностью. Некогда (хотя китайское и тогда преобладало над духовным) все-таки верили в уединение монастыря и, следовательно, чтили его, как нечто высшее, приближающее людей к вечному... Теперь уединение стало отвержением, преступников наказывают одиночным заключением. Какая разница.

х х х

Если подумать о вечности, то, конечно, незачем особенно спешить здесь на земле, но я все-таки буду работать изо всех сил, буду состязаться в прилежании с самым прилежным, буду доживать над каждой минутой, как нищий над грошем. Всякая мелочь станет для меня важной и будет обработана самым тщательным образом. (На полях: "Как это прекрасно сказано у Якоба Беме:...")

х х х

Благодаря неоценимому дару Божию, человек, испытывающий сильные удары судьбы, уподобляется редкому инструменту. При каждом новом испытании мира его души не только не расстраивается, но, напротив, приобретает еще одну струну.

х х х

Все идет к тому, что скоро будут писать лишь для толпы, для неведомственной толпы и лишь те, кто умеют писать для толпы.

х х х

Говорят: "Глас народа - глас Божий". И тогда, когда евреи кричали: "Распни Его"?

х х х

У меня недостает физических сил для лености, духовных же хватает как раз на работу.

х х х

Вся эта вздорная болтовня о "национальности" - шаг назад к язычеству. Христианское учение стремится именно искоренить языческое поклонение национальностям.

х х х

Нет слов, что наслаждение имеет в себе много прелести в данную минуту, но для воспоминания, нет ничего отраднее перенесенных страданий, то есть страданий за добро-и-ис. ну. К тому же нам дано лишь 70 лет для наслаждения и целая вечность для воспоминаний. Наслаждению же совсем нет места в воспоминании.

ЕДИНИЦА

"Единица" та категория, через которую должны пройти в наше время. В религиозном смысле наше время, история, род человеческий /.../. Тот, кто стоял у Фермопильского ущелья, не занимал столь обеспеченной позиции, как я, стоящий у теснины "Единицы". Ведь задачей Леонида было помешать вражьи полчища прорваться через ущелье, их прорыв означал его гибель. Моя задача - во всяком случае на первый взгляд, гораздо легче и менее подвергает меня опасности быть стоптанным. Ведь я поставил себе задачей в качестве окромого слуги, по мере сил, помочь людским полчищам пробраться через теснину Единицы, что, надо заметить, и не удастся никому, кто не стал Единицей. И все-таки... если бы мне предложили выбрать себе надпись на могиле, я бы не просил никакой другой, кроме - Единицы. Если эту категорию еще не поняли, то поймут со временем. В эпоху, когда у нас не сходило с языка слово "система" (вероятно К. имеет в виду философию Гегеля - Перев.) я подошел к этой системе с точки зрения "единицы" и что же? Теперь о системе больше ни гу-гу. Если вообще за мной утвердится какое-нибудь историческое значение, то, безусловно, в связи с категорией "единицы". Сочинения мои, может

быть, забудутся, как сочинения многих других писателей, но если категория эта была верной, если я правильно судил, видя в ее утверждении свою (отнюдь не веселую и благодарную) задачу, если мне было дано провести ее, хотя бы ценой тяжелых испытаний и жертв, то я останусь жить, а вместе со мной и мои сочинения.

При той рассудочности, до которой дошло человечество в своем развитии, единственное спасение христианства в категории "единицы". Без этой категории победа за пантеизмом. Несомненно, появятся люди, которые сумеют пользоваться этой категорией лучше меня, ведь им не придется трудиться над введением ее, но категория "единица" есть и останется чихотной травой, способной отрезвлять людей, есть и останется той тяжестью, которую приходится налагать на людей, причем лица, применяющие эту категорию должны обладать особой диалектикой, сообразно с господствующей путаницей в понятиях.

Я берусь сделать христианином каждого, кого мне удастся заставить приобщиться к категории "единицы", или, во всяком случае, ручаюсь в том, что каждый, приобщаясь к этой категории, станет христианином. В качестве "единицы" он один, один во всем мире, один — перед лицом Бога, а тогда за послушанием дело не станет. Всякое сомнение опирается в конце концов на обман чувств, на воображение, что нас, дескать, много, за нами все; человечество в конце концов как таковое, может импонировать Богу (как народ импонирует королю и публика министру) и само стать божеством. Пантеизм — оптический обман, созданный туманами временного, мираж, вызванный отражениями преходящего, который претендует быть вечностью.

Но категория единицы не предмет преподавания, она этическое средство, применение которого требует большого мастерства, связанного на практике с опасностью, а иногда даже грозящего жизни того, кто ее применяет. Ибо в глазах своенравного рода человеческого, этих полчищ собитых с толку людей, наивысшее в божественном смысле всегда будет сочтено своего рода "оскорблением величества", "поруганием рода", "толпы", "публики" и т.д.

Категория единицы была применена впервые чисто диалектически Сократом для упразднения язычества. В христианстве она будет использована вторично, чтобы сделать людей (номинальных христиан) истинными христианами.

Это не категория, пускаемая в ход миссионером, действующим среди так называемых христиан для пробуждения и развития в них искренности. И когда появится такой миссионер, он применит эту категорию. Если же время наше омамает героя, то эдет напрасно, скорее всего, явится тот, кто в своей божественной слабости научит людей покорности — доведет их до безбожного возмущения, в припадке которого они убьют его, покорного Богу.

Художнику, поэту, ученому легко прожить всю жизнь предметом поклонения современников, потому что он — нечто особое между людьми, и произведения его не имеют прямого отношения к действительной жизни, вращаясь исключительно в области фантастики. Наоборот, этик, проповедник нравственных идеалов, должен быть гоним, иначе он плохой этик. Этик ведь стоит между людьми как общечеловеческое требование и, следовательно, не должен допускать, чтобы люди, вместо того, чтобы стремиться исполнить требование этики, только преклонялись бы перед ним самим. В последнем случае они тотчас же превратят его в гения, то есть в нечто особое, ни к чему их, простых смертных, не обязывающее, а такое отношение с этической точки зрения самый ужасный обман, величайшая ложь; этическое учение есть и должно быть общечеловеческим, обязательным для всех и каждого. Долг этика неустанно проводить идею, что всякий может и должен наравне с ним исполнять требование этики; но исполнение им этого своего долга сразу изменяет отношение к нему людей.

х х х

Святое Писание — проводник, Христос — путь.

х х х

Каждый раз, когда колесница всемирной истории готовится взять крутое препятствие, является и целая упряжка настоящих коренников — неженатых, одиноких людей, живущих исключительно ради идей. Иоганн фон Миллер говорит, что миром правят две силы: идеи и женщины. Но когда доходит до настоящего дела, должны править одни идеи.

х х х

Под картиной, изображающей Руссо с молодой девушкой, подписано: "Первая любовь Руссо". Рядом другая картина с надписью: "Последняя любовь Руссо". Какая эпиграмма! Вот если бы была од-

на картина: – "Единственная любовь Руссо"!

х х х

Судьба короля Лира – казнь Немезиды. Это преступление – безумный вызов детям, себялюбивое желание анализировать детскую любовь. Любовь детей к родителям – неисчерпаемая Мистерия, основанная к тому же на законах природы. События могут дать ей повод обнаружить свою глубину, но непристойно, грешно захотеть как бы расследовать ее из любопытства, ради собственного удовольствия. Подобное выпрашивание можно еще извинить влюбленным (когда один из них попытывается у другого, как сильно он или она любит его или ее), да и тогда, в сущности, оно сводится к простому заигрыванию.

х х х

"Вечное" таинственно-нераздельно с человеком во все возрасты жизни, но внимание смертного отвлечено временем, и он не видит того, что около него.

х х х

Окончить совсем Дон-Кихота нельзя: его надо изображать постоянно на лету, в погоне за бесконечным рядом. Дон Кихот бесконечно совершенствуется в безумии.

х х х

Сначала человек грешит по слабости своей, берущей над ним верх. Затем человек впадает в грех и вновь грешит уже с отчаянием.

х х х

Любви мы должны научиться от Бога. Он возлюбил нас первый и таким образом стал первым нашим учителем, который учит нас любить, учит любить Его. Когда же для тебя послан одр смерти и ты лег, чтобы не вставать более, – вдруг воцаряется тишина, к тебе собрались только твои близкие. Мало-помалу эти близкие расходятся, тишина возрастает, так как около тебя остаются лишь самые близкие. Уходят понемногу и они, и тишина все увеличивается, – у твоего одра кто-нибудь один, самый близкий. Наконец, удаляется и он, но с тобой все-таки остается Некто... Тот же, кто с тобой с самого начала, – Бог.

х х х

Я далек от того, чтобы обвинять именно наше время – мне во всякое время жилось бы плохо. Сократ правду сказал, что изгнание мало принесет ему пользы, так как ему пришлось бы плохо во всякое стране.

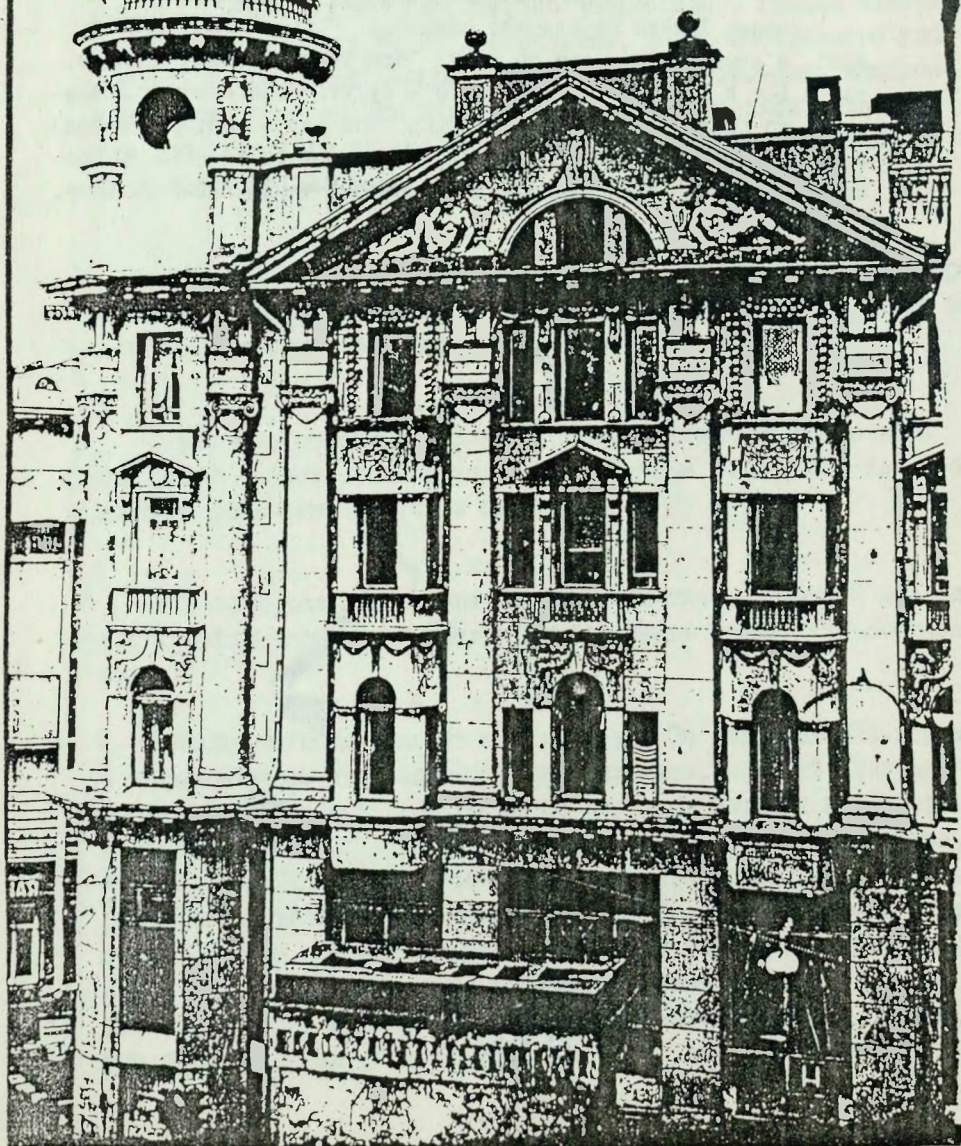
х х х

Учение Христа упразднило заповедь: "Око за око, зуб за зуб", и ввело новую меру за меру: "Как ты относишься к людям, так и Бог к тебе". Судить другого – судить себя самого. Примирясь со своим врагом, ты приносишь свой дар на алтарь Господа. Итак, где совершается примирение, там и алтарь Господа. Свое же примирение – единственный дар, который можно принести Богу.

пер. N N



Не город Рим
живёт
среди
веков



25 Стиль есть то, куда поцеловал Бог вещь.
декабри /день Рождества. / мамы в клинике/

Таковыми-то затуманенными глазами гляжу и на мир.
И ничего не вижу.

И параллельно внутри вечная игра. Стихи. Сместии.
Говоры.

Бум народов. Бум бала.

И как росинки откуда-то падают слёзы.

Что душа моя плачет о себе.

/у постели больной мамы/

, ,

Стильные вещи суть оконченные вещи.

И посему они уже мертвы. И посему они уже вечны.

Потому что они не станут изменяться. Но всегда
останутся.

, , ,

И тем вместе стиль есть нечто вечное. Это на-
ружность вещей. Кожа вещей. Но ведь у человека мы
целуем же священные уста и никто не вздумает поце-
ловать столь важное и нульное ему сердце.

/в клиническ. институте. / мамы/

Что значит, когда "я умру"?

Освободится квартира на Коломенской,
и хозяйки отдаст её новому жильцу.

Ещё что?

Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам?

Сам? - Ничего.

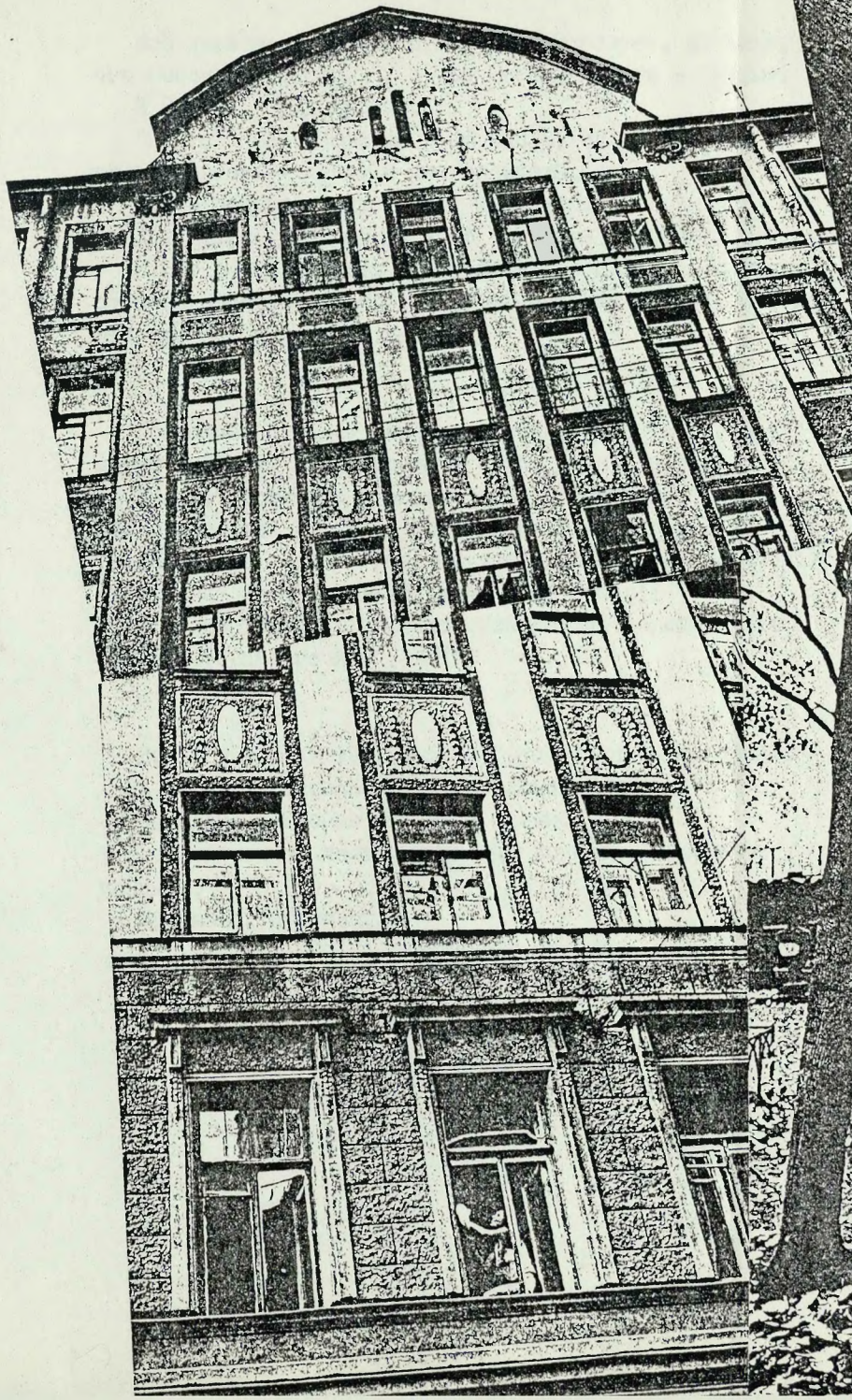
Боро получит за похороны 60 руб. и
в "парте" эти 60 руб. войдут в "итог".
Но ты уже всё сольётся тоже с другими
похоронами; ни имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

Торчит пень. А была такая чудная латания.
Из рублей.

Так и ни...

И вся история - голое поле с торчащими пнями.
/купил за 12 с кадкой и
дешевым листом на лентой;
оценивали гости в 30 р.;
два года пропла; утепала
глаз; на третий стала чахнуть,
и в сентябре, у "вещара на
"прилавочек" - огромная кадка
и странная пень в ней/.



Всё казённое только формально существует. Не беда, что Россия в "фасадах": а что фасады-то эти - пустыне. И Россия - ряд пустот.

"Пусто" правительство - от мысли, от убеждения. Но не утешайтесь - пусты и университеты.

Пусто общество, пустынно, воздушно.

Как старый дуб: сушня - но внутри - пустоты и пустоты.

И вот в эти пустоты забираются иностранцы, даже иностранцы забираются. Не в силу их натиска - дело, а в том, что нет сопротивления им.

Социализм пройдёт как дисгармония. Всякая дисгармония пройдёт. А социализм - буря, дождь, ветер...

Зойдет солнышко и осушит всё. И будут говорить, как о вихревой росе: - "Неужели он /соц./ был!"

"И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?"

- О да! И ещё сколько-то град этот побил!!

- "Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его почитать?"

Вот и я кончаю тем, что всё русское начинаю ненавидеть. Как это печально, как страшно.

Печально особенно на конце жизни.

Эти заспаные лица, неметённые комнаты, не тощёные улицы...

Противно, противно.

/Лука - Петерб., вагон/

А голодные так голодны, и всё-таки революция пра-
ва. Но она права не идеологически, а как нагнск, как
воля, как отчаяние. Я не св.топ и, может быть, хуже
тебя: но я волк, голодный и ловкий, да и голод дал
мне храбрость; а ты тысячу лет - вол, и если шел ро-
га и копыта, чтобы убить меня, то теперь - стар, рас-
слаблен, и вот я съем тебя.

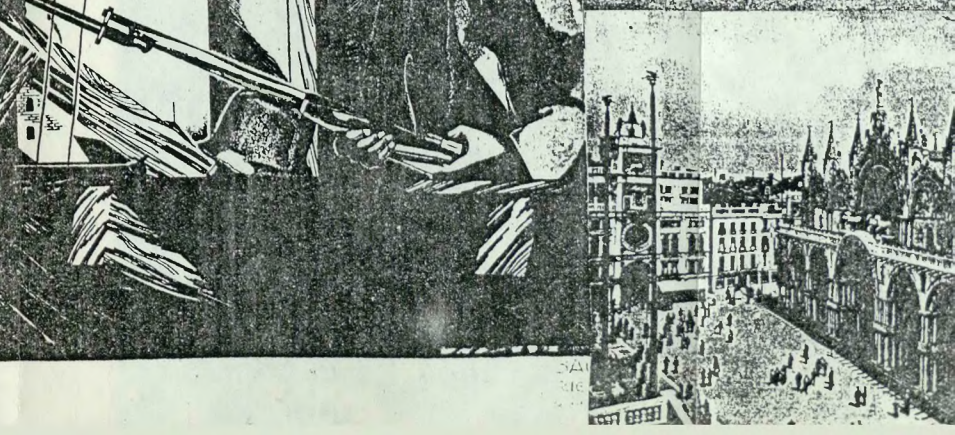
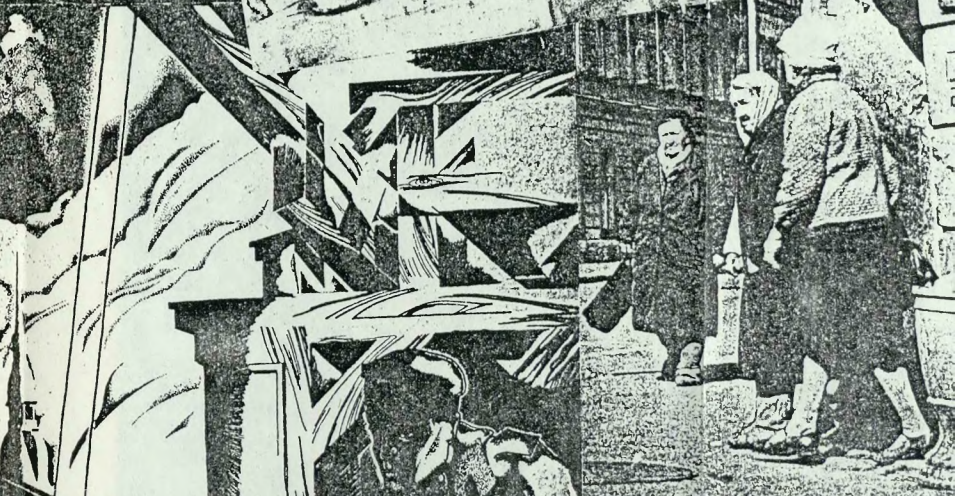
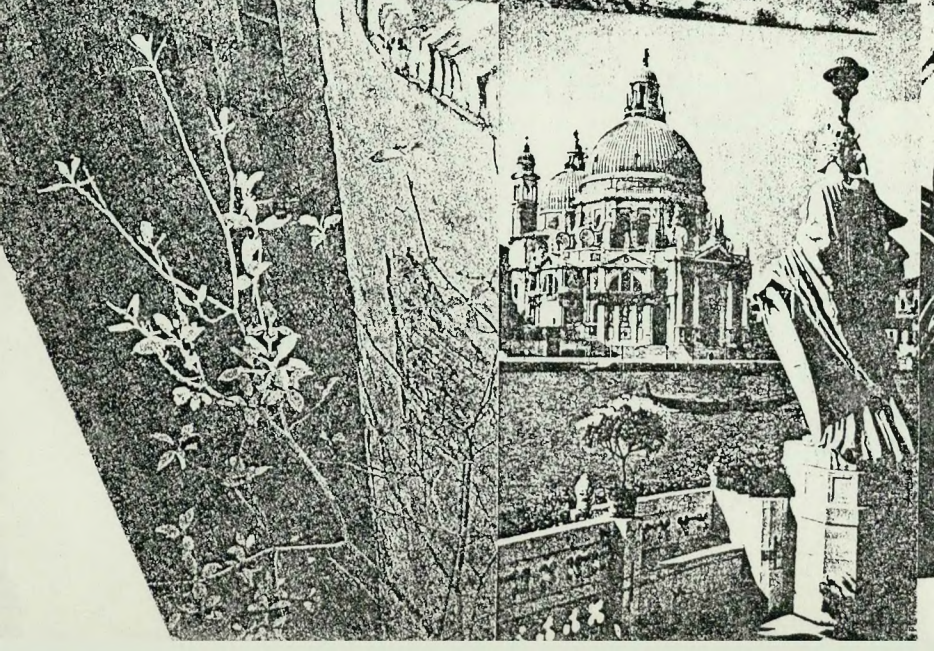
Революция и "старый строй" - это просто "дряхлость"
и "ещё крепкие силы". Но это не идея, ни в каком слу-
чае - не идея!

Все соц.-демократ. теории сводятся к тезису: "хо-
чется мне кушать". Что же: тезис-то ведь прав. Против
него сам "Господь Бог ничего не скажет". "Что дал мне
желудок, обязан дать и пищу". Космология.

да. Но мечтатель отходит в сторону: потому что даже
больше, чем пищу - он любит мечту свою. А в революции -
ничего для мечты.

И вот, может, лишь оттого, что в ней ничего для меч-
ты, она не удается. "Битой посуды будет много"; но "но-
вого здания не выстроятся". Ибо строит тот один, кто
способен к изнуряющей мечте; строил Микельанджело, стро-
ил Леонардо да Винчи: но революция всем им "покажет про-
заический кукиш" и задует ещё в младенчестве, лет II -
IV, когда у них вдруг окажется "своё на душе". - "А, вы
гордецы: не хотите с нами сличиваться, делиться, откро-
венничать... Имеете какую-то свою душу, не общую ду-
шу... Коллектив, давнишняя жизнь родителям вашим и вам, -
ибо без коллектива они и вы подошли бы с голоду - те-
перь берёт своё назад. Утрите".

И "новое здание" с чертами ослепшего в себе, позва-
дится в третьем - четвертом поколении.



Созидайте дух, созидайте дух, созидайте дух!
Смотрите, он весь рассыпался...

/на Загородном пр., веч.;
кругом проститутки/

Памятники не удаются у русских /Гоголю и т.д./,
потому что единственно нормальный памятник - часовня,
и в ней неугасимая лампада "по рабе Лоллему Николае"
/Гог[оле]/.

Нагими рождаемся, нагими сходим в землю.
Что же такое наша одежда?
-ины, знатность, положение?
Для прогулки.

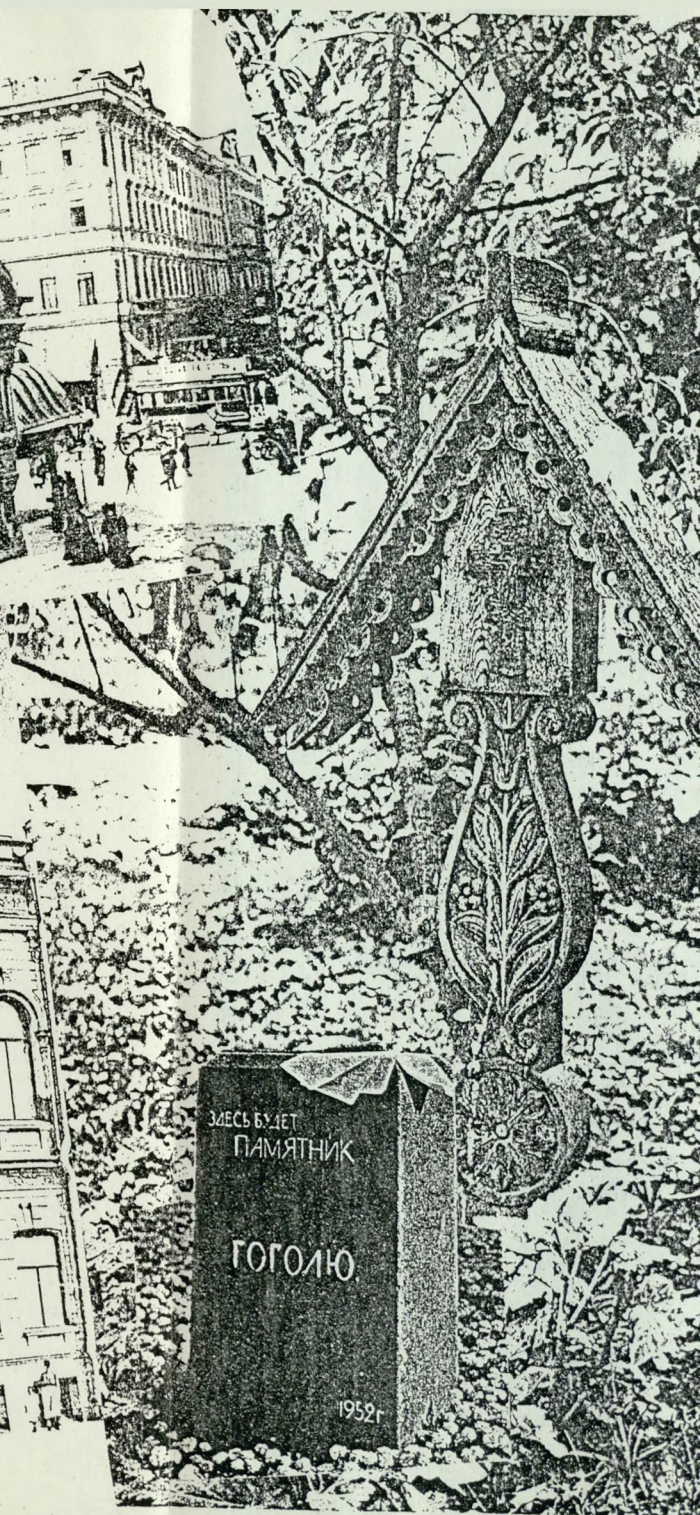
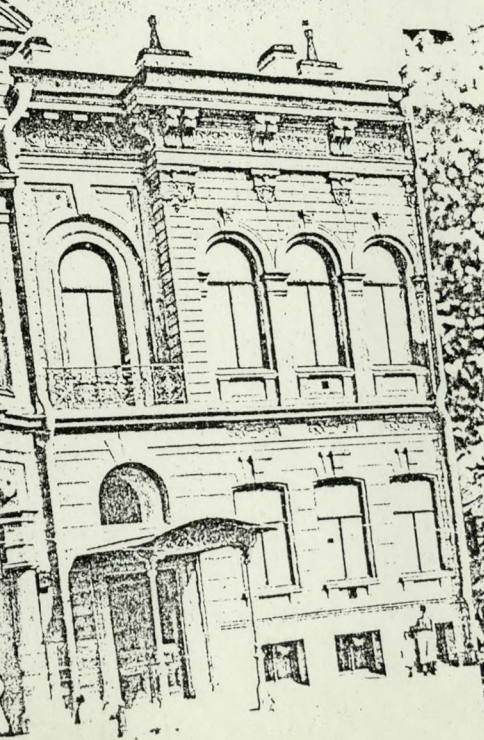
— • —
день ясны и все выспали на Цевский. Но есть
час, когда мы все пойдём домой. И это домой - в землю.
/октябрь/

Человека достойный памятник только один -
земляная могила и деревянный крест.

Золотой же памятник можно поставить только
над собакою.

В. В. Розанов. *Земное.*

Опавшие листья



ЗДЕСЬ БУДЕТ
ПАМЯТНИК

ГОГОЛЮ

1952г